

18+

ДИНА РУБИНА



Липовая жена



Дина Ильинична Рубина
Липовая жена
Серия «На солнечной стороне»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65469466
Липовая жена: Эксмо; М.; 2021
ISBN 978-5-04-155088-2

Аннотация

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех. Одинокая мать, воспитывающая сына; «выходной» папа; брат и сестра, отец которых покидает дом в надежде на новую любовь... Кругом «ухабы характера», всюду «щипки, тычки и щекотания», «грызня грызнёй»... Не случайно мальчик, персонаж рассказа «Терновник», заявляет вечно занятой матери: «Я найду себе другую женщину!» А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа «Двойная фамилия», произносит: «Никогда не женюсь, правда-правда!» Но при этом Дина Рубина – исключительный мастер в изображении семейной любви, ее созидательной силы. Любовь родителей способна растворять камни, топить лед, согревать с того света. Нет ничего значительнее этого «Великого Братства Кормящих»!

Содержание

Когда же пойдет снег?	5
Терновник	59
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Дина Рубина

Липовая жена

© Д. Рубина, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Когда же пойдет снег?

*Светлой памяти Владимира Николаевича
Токарева*

За ночь исчезли все городские дворники. Усатые и лысые, пьяные, с сизыми носами, громадные глыбы в коричневых телогрейках, с прокуренными зычными голосами; дворники всех мастей, похожие на чеховских извозчиков, – все вымерли за сегодняшнюю ночь.

Никто не сметал с тротуаров в кучи желтые и красные листья, которые валялись на земле, как дохлые золотые рыбки, и никто не будил меня утром, перекликаясь и гремя ведрами.

Так они разбудили меня в прошлый четверг, когда мне собирался присниться тот сон, даже не сон, а чувство надвигающегося сновидения без событий и действующих лиц, все сотканное из радостного ожидания.

Ощущение сна – сильная рыба, бьющаяся одновременно и в глубине организма, и в кончиках пальцев, и в тонкой коже на висках.

И тут меня разбудили проклятые дворники. Они гремели ведрами и шаркали метлами по тротуару, сметая в кучи прекрасные мертвые листья, которые вчера еще струились в воздухе, как золотые рыбки в аквариуме.

В то утро я проснулась и увидела, что деревья пожелтели

вдруг за одну ночь, как седеет за одну ночь человек, переживший тяжкое горе. Даже то деревце, которое я посадила весной на субботнике, стояло, вздрагивая золотистой шевелюрой, и было похоже на ребенка с взлохмаченной рыжей головкой.

«Ну, началось... – сказала я себе, – приветик, началось! Теперь они будут сметать листья в кучи и сжигать, как еретики».

Это было в прошлый четверг. А сегодня ночью все городские дворники исчезли. Исчезли, ура! Во всяком случае, это было бы просто здорово: город, заваленный листьями. Не наводнение, а налиствение...

Но, скорее всего, я просто проспала.

Сегодня воскресенье. Максим не идет в институт, а папа на работу, и мы весь день будем дома. Все втроем, весь день, с утра до вечера.

– Дворников больше не будет, – сказала я, садясь за стол и намазывая масло на кусок хлеба. – Все дворники кончились сегодня ночью. Они вымерли, как динозавры.

– Это что-то новенькое, – буркнул Максим. По-моему, он был сегодня не в духе.

– А я редко повторяюсь, – охотно согласилась я. Это было началом нашей утренней разминки. – У меня обширный репертуар. Кто сделал салат?

– Папа, – сказал Максим.

– Макс, – сказал папа. Это они произнесли одновременно.

– Молодцы! – крикнула я. – Не угадали. Салат вчера вечером сделала я, и поставила в холодильник. Там он, я полагаю, был найден?

– Да, – сказал папа. – Бестия...

Но и он сегодня был не в духе. То есть не то чтобы не в духе, а вроде бы чем-то озабочен. Даже эта утренняя зарядочка, которую я запланировала с вечера, успеха не имела.

Папа минут десять еще покопался в салате, потом отложил вилку, уперся подбородком в сцепленные руки и сказал:

– Нужно обсудить одно дело, ребята... Я хотел с вами поговорить. Вернее, посоветоваться. Мы с Натальей Сергеевной решили жить вместе... – Он помолчал, подыскивая еще какое-то слово. – Ну-у, что ли, связать свои судьбы.

– Как? – ошалело спросила я. – Как это?

– Папа, прости, я забыл поговорить с ней вчера, – торопливо сказал Макс. – Мы не возражаем, папа.

– Как это? – тупо переспросила я.

– Мы поговорим в той комнате! – сказал мне Макс. – Это все понятно, мы все понимаем.

– Как это? А как же мама? – спросила я.

– Ты с ума сошла? – спросил Макс. – Мы поговорим в той комнате!

Он с грохотом отодвинул стул и, схватив меня за руку, поволок в нашу комнату.

– Ты что, с ума сошла? – холодно повторил он, насильно

усадив меня на диван.

Я спала на очень старом диване. Если заглянуть за второй валик, к которому я спала ногами, можно увидеть наклейку, рваную и еле заметную: «Диван № 627».

Я спала на диване № 627 и иногда ночами думала, что где-то у кого-то в квартирах стоят такие же старые диваны: шестьсот двадцать восемь, шестьсот двадцать девять, шестьсот тридцать – младшие братья моего. И я думала, какие, должно быть, разные люди спят на этих диванах, и о каких, должно быть, разных вещах они думают перед сном...

– Максим, а как же мама? – спросила я.

– Ты с ума сошла-а! – простонал он и сел рядом, зажав ладони между колен. – Маму не воскресишь. А у отца жизнь не кончена, он еще молод.

– Молод?! – с ужасом переспросила я. – Ему сорок пять лет.

– Ни-на! – раздельно сказал Максим. – Мы же взрослые люди!

– Это ты взрослый человек. А мне пятнадцать.

– Шестнадцатый... Мы не должны отравлять ему жизнь, он и так долго держался. Пять лет один, ради нас...

– ...и еще потому, что он любит маму!

– Нина! Маму не воскресишь!

– Что ты повторяешь, как осел, одно и то же!!! – заорала я.

Зря я так выразилась. Никогда не слышала, чтобы ослы повторяли одну и ту же фразу, и вообще это весьма привле-

кательные животные.

– Ну, поговорили... – устало сказал Максим. – Ты все поняла. Отец будет жить там, у нас негде, да и мы с тобой, в конце концов, взрослые люди. Это даже хорошо, что папина мастерская станет твоей комнатой. Тебе давно пора иметь свою комнату. Перестанешь прятать на ночь лифчики под подушку, будешь вешать их на спинку стула, как человек.

Откуда он знает про лифчик? Ну и дурак...

Мы вышли из комнаты. Отец сидел за столом и гасил сигарету в пустом блюдечке из-под колбасы.

Максим подтолкнул меня вперед и положил руку туда, где сзади у меня начиналась шея. Он ласково погладил меня по шее, как рысака, на которого ставят, и сказал вполголоса:

– Ну...

– Ты что делаешь? – крикнула я на отца дворничьим голосом. – Пепельницы тебе нет? – и быстро пошла к двери.

– Ты куда? – спросил Максим.

– Да пройдусь... – ответила я, надевая кепку.

И тут зазвонил телефон.

Максим поднял трубку и вдруг сказал мне, пожимая плечами:

– Тебя. Очень мужской голос.

– Это какая-то ошибка, – сказала я.

Вообще-то я не привыкла, чтобы мне звонили мужчины. Мужчины мне еще не звонили. Правда, где-то в седьмом классе надоедал один пионервожатый из нашего лагеря. Он

говорил неестественно высоким, смешным голосом. Когда он звонил по телефону и попадал на брата, тот кричал мне из коридора: «Иди, там тебя евнух спрашивает!»

Этот говорил красивым низким голосом.

– Вас зовут Нина, – сказал он.

– Спасибо, я в курсе, – машинально ответила я.

– У вас чудесный голос. Простите, я волнуюсь и говорю пошлости. Я видел вас в театре...

– Да. На премьере моего спектакля «Преступление и наказание», – сказала я. Кто-то из нашего класса меня разыгрывал, это было ясно.

– Н-нет... – нерешительно возразил он. – Вы сидели в амфитеатре. Мой товарищ, оказалось, совершенно случайно знал вас и дал номер телефона.

– Это какая-то ошибка, – сказала я скучным голосом. – Последние тридцать два года я не бываю в театре.

Он засмеялся – у него был очень приятный смех – и укоризненно сказал:

– Нина, это несерьезно. Понимаете, мне необходимо вас увидеть. Просто необходимо. Меня зовут Борис...

– Борис, я очень сожалею, но вас разыграли. Мне пятнадцать лет. Ну, шестнадцатый...

Он опять засмеялся и сказал:

– Это не так плохо. Вы еще достаточно молоды.

– Хорошо, мы встретимся сейчас, – решительно сказала я. – Только знаете что, давайте оставим эти опознавательные

газеты в руках и традиционные цветки в петлицах. Вы уго-
няете машину марки «Москвич» и едете в сторону пустыни
Гоби. Я надеваю красный комбинезон и желтый картуз и иду
в том же направлении. Там мы и встретимся... Одну минут-
ку! Вы не дворник по профессии?

– Нина, вы – чудо! – сказал он.

Больше всего ему понравилось, что я действительно при-
шла в красном комбинезоне и желтом картузе. Этот картуз
привез мне из Ленинграда Макс. Громадный кепон с длин-
ным таким, комичным козырем.

– Ты похожа на подростка из американского боевика, –
сказал Максим. – А вообще модно и здорово.

Правда, на меня с ужасом оборачивались старухи, но в
принципе это можно было пережить.

Так вот, больше всего ему понравилось, что я действи-
тельно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Но
начинать надо не с этого. Начать надо с того момента, когда
я увидела его на углу, возле овощного киоска, там, где мы в
конце концов договорились встретиться.

Я сразу поняла, что это он, потому что в руке он держал
три громадные белые астры, и потому что, кроме него, возле
этого вонючего киоска стоять было некому.

Он был потрясающе красив. Самый красивый парень из
тех, кого я видела. Даже если он был в девять раз хуже, чем
это мне показалось, все равно он был в двенадцать раз лучше
самого красивого мужчины.

Я подошла совсем близко и уставилась на него, засунув руки в карманы. Карманы в комбинезоне пришиты высоко-вато, поэтому локти торчат в стороны, и я становлюсь похожа на человечка, собранного из металлоконструкций.

Он раза два взглянул на меня и отвернулся, потом вздрогнул, снова посмотрел в мою сторону и растерянно начал меня разглядывать.

Я молчала.

– Это... Ты кто? – наконец испуганно спросил он.

– Я монах в синих штанах, в желтой рубашке, в сопливой фуражке. – Я вспомнила детскую считалку и, кажется, некстати. Он ее успел забыть, и потому смотрел на меня, как на ненормальную.

– Но как же... Ведь Андрей говорил, что ты...

– Все ясно, – сказала я. – Андрей Волохов из пятой квартиры. Наш сосед. Он пошутил и дал номер моего телефона. Он шутник, разве вы не замечали? Одно время он посылал мне любовные письма, подписывался гиперболоидом инженера Гарина.

– Так... – медленно сказал он. – Оригинально. – Хотя мне показалось, что создавшаяся ситуация была похожа скорее на идиотскую, чем на оригинальную.

– Да, вот, во-первых, возьми... – Он протянул мне астры. – А во-вторых, это ужасно! Где же я теперь найду ее?

– Кого?

– Ну, ту девушку, которую я видел в театре.

Он посмотрел на меня расстроенным взглядом, сочувствуя, наверное, и себе и мне.

– Слушай, а тебе в самом деле лет пятнадцать? – сказал он.

– Не лет пятнадцать, а пятнадцать лет. Даже шестнадцатый, – поправила я его.

– Ничего, что я на «ты»?

– Ничего, – сказала я. – Со мной по-другому не получается. Я карманная.

– А?

– Маленького роста... – сказала я.

– Подрастешь еще...

Подбодрил. Ненавижу!

– Ни в коем случае! – оборвала я. – Женщина должна быть статуэткой, а не Эйфелевой башней.

Лгала бесстыдно. Благоговею в душе перед крупными женщинами. Но что поделаешь – при моих доспехах нужно уметь обороняться.

Он весело хмыкнул, потер переносицу и внимательно взглянул из-под бровей.

– Знаешь что, если такое дело, пойдем посидим в парке, что ли?.. Съедем по порции эскимо! Говорят, оно здорово помогает при расстройстве нервной системы. Эскимо любишь?

– Люблю. Все люблю! – сказала я.

– А есть на свете такое, чего ты не любишь?

– Есть. Дворники, – сказала я.

Эскимо в парке не оказалось, и вообще там ни черта не оказалось, кроме пустых скамеек. А мороженое продавали только в кафе.

– Зайдем? – спросил он.

– Ну конечно! – удивилась я.

Было бы просто глупо, если бы я упустила такой случай. Не так уж часто приглашает меня в кафе потрясающе красивый мужчина, и еще я пожалела, что сейчас не вечер и не зима. В первом случае кафе было бы набито людьми и играла бы музыка, а во втором случае он наверняка помог бы мне снять пальто. Должно быть, это чертовски приятно, когда снимать пальто вам помогает такой красивый парень.

– Что же все-таки мне делать? – задумчиво проговорил он, когда мы уже сидели за столиком. – Где ее искать?

– По-моему, ее и искать не стоит, – небрежно сказала я.

Мы сидели на летней площадке под тентами. Скверик просвечивался отсюда насквозь, так что видны были фонарь у входа и афиша на фонаре.

– Вы увидели в театре девушку, которая вам понравилась. Девушка красивая. Ну, и что? Вон их сколько на улице! Я тоже буду красивая, когда вырасту, подумаешь! Но если уж вам так хочется найти именно ту, объявите экспедицию, снарядите корабль, наберите команду, а меня возьмите юнгой.

Он расхохотался.

– Ты просто прелесть, малыш! – сказал он. – Но прелесть

ней всего то, что ты и в самом деле явилась в красном комбинезоне и желтом картузе. За свои двадцать три года... ну, двадцать два... я впервые столкнулся с таким экземпляром, как ты!

Я облизнула ложку и, прищулив один глаз, закрыла ею слепое осеннее солнце.

– Это что, мой возраст или как я выгляжу позволяет вам говорить таким снисходительным тоном? Почему вы уверены, что я не дам вам по носу? – с любопытством спросила я.

– Ну не сердись, – сказал он и улыбнулся. – С тобой забавно разговаривать. Выходи за меня замуж, а?

– Еще не хватало, чтобы мой муж был старше меня на семь лет. Чтобы он умер на семь лет раньше меня. Еще этого не хватало. – Тут он просто тукнулся в розетку от смеха. – И вообще, самая приятная вещь – остаться старой девой и варить из айвы варенье. Тысячи банок варенья. Потом дожидаться, пока оно засахарится, и раздаривать его родственникам. – Я серьезно смотрела на него. Это уже наступил тот момент в разговоре, когда я начинаю острить без улыбки.

– А мама не возражает против этой установки? – подмигнув, спросил он.

– Мама в принципе не возражает, – сказала я. – Мама погибла пять лет назад в авиационной катастрофе.

У него изменилось лицо.

– Прости, – сказал он, – прости, ради бога.

– Ничего, бывает... – спокойно ответила я. – Еще моро-

женого!

Мне не хотелось мороженого. Просто приятно было смотреть, как этот высокий красивый парень послушно поднялся и направился к стойке. На секунду могло показаться, что пошел он не потому, что хорошо воспитан, а потому, что это я, я потребовала еще порцию мороженого!

В сущности, мне было все равно, посидит он здесь еще минут пятнадцать или вежливо распрощается. Просто иногда бывает интересно притвориться перед самой собой. Всегда развлечение...

По дорожке мимо кафе проехал пацан на велосипеде. Он держался за руль одной рукой, как бы показывая этим, что – фи, чепуха, он, если захочет, сможет ехать, вообще не держась за руль.

Несмотря на будний день, в скверике царило безделье. Оно шуршало газетами на скамейках, сквозило солнечными лучами в листьях деревьев, и даже снующие по своим делам люди в скверике казались бесцельно шатающимися.

Всем безраздельно владела праздность...

– Скорее бы уж снег, – сказала я, когда он вернулся, поставив передо мной розетку с белым подтаявшим комочком. – Вы на санках катаетесь?

– Ага, – сощурился он. – Преимущественно этим и занимаюсь.

Когда он это сказал, я вдруг поняла, что передо мной уже совсем взрослый и, вероятно, очень занятой человек.

Я подумала, что хватит, нужно раскланяться и обратиться восвояси, и неожиданно для себя сказала:

– А пойдёте в кино!

Это была вершина моей наглости и хамства. Но он не дрогнул.

– А уроки когда делать?

– Я не готовлю уроков. Я способная.

Я отчаянно смотрела на него, и взгляд мой был нахален и чист...

Мы гуляли по городу до тех пор, пока не начало смеркаться. Я вела себя скверно, совсем сошла с ума. Я болтала без умолку, забегая перед ним, размахивая руками и заглядывая ему в глаза. Это был стыд, позор, ужас. Я походила на семилетнего Петьку, которого повел в зоопарк летчик-сосед дядя Вася.

Пошел дождь, и, не обращая внимания на этот драгоценный дар неба, по улицам сновали люди. Они вылезали из такси, громко хлопнув дверцей, изучали витрины магазинов или, проходя мимо, окидывали их взглядом, стояли на остановках трамваев, мимоходом договаривались о встречах. И у многих в руках были зонтики – милые и добрые механизмы. Самое невинное, что изобрели люди.

Затем опять показалось солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял ее ни с чем не срав-

нимой тоской. Но не ноющей, а сладкой и веселой тоской, словно люди, бредущие в сумерках по осеннему городу, были не действительностью, а дорогим воспоминанием.

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днем все яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим противником в упоительной желтизне и оранже...

Наш неосвященный подъезд в сумерках напоминал одновременно беззубую разинутую пасть и пустую глазницу.

Я понимала, что это завершение неповторимого дня, и старалась придумать для него такое же прекрасное многоточие, но, подойдя к подъезду, обнаружила, что ничего не получается, и почему-то сказала:

– Вот таким образом. Ну, я пошла...

– Это отец поднял трубку?

– Брат. Хороший брат, качественный. Ленинский стипендиат. Не то что я. У меня по литературе тройка. Кажется, я опять начала... Ну, я пошла!

– А отец хороший?

– Еще лучше брата. Он художник-декоратор в театре. Хороший художник и отец хороший, вот только жениться вздумал.

– Ну и пускай...

– Не пущу!

– А ты злока! – Он засмеялся.

– Ну, я пошла?

И тут случилась первая неожиданная вещь.

– А можно я буду звонить тебе, когда мне будет не слишком весело? – спросил он небрежно, прищурившись.

И тут случилась вторая неожиданная вещь.

– Нет, – сказала я. – Лучше я позвоню вам, когда мне будет не слишком грустно...

Сегодня вечером папа уходил. Мы в первый раз оставались вдвоем.

Он щеткой чистил в коридоре туфли, а мы торчали тут же: я сидела на табуретке, а Максим стоял, прислонившись к косяку, – и молча следили за его движениями.

Папа был веселым и бодрым – во всяком случае, казался таким. Он рассказал нам два анекдота, а я в это время думала, что вот он уходит, а вещи его пока остаются, но потом он их, конечно, будет постепенно уносить, как это у людей делается.

Не унесет только мамин портрет со стены, его любимый портрет, где мама нарисована фломастером, вполоборота, как бы оглянувшись, с длинной сигаретой в длинных пальцах. Этот портрет нарисовала мамина приятельница – журналистка тетя Роза. У нее была кошка, которая начинала плакать, услышав песню «Синий скромный платочек». Да что

это я – была! Есть. И кошка есть, и тетя Роза есть...

Сегодня папа уходил.

Он, конечно, будет часто приходить и звонить, но никогда больше не зайдет поздно вечером в нашу комнату, чтобы поправить одеяла на своих дылдах.

Сегодня папа уходил к женщине, которую он любит.

Он дочистил туфли, снял сетку с гвоздя и весело сказал:

– Ну, пока, пацаны! Завтра позвоню.

– Ну, давай! – в тон ему бодро сказал Максим и открыл дверь.

На лестничной площадке папа еще раз приветственно помахал рукой.

Когда захлопнулась дверь, я заорала. Признаться, я с нетерпением ждала этого момента, чтобы нареветься за милую душу. Я плакала взхлеб, сладко, горько, с подвываниями, как плачут маленькие дети. Максим с силой прижимал мое лицо к своей фланелевой рубашке, так что трудно было дышать, без конца гладил меня по голове и тихо, торопливо повторял:

– Ну все, все... Ну хватит, хватит... – Он боялся, что отец еще не вышел из подъезда и может услышать мой концерт.

Я замолчала, и мы долго слонялись по комнатам, не зная, за что взяться. В животе у меня ныло.

Так мы дотянули до одиннадцати. Потом Максим постелил мне в отцовской мастерской, что означало вступление в права хозяйки комнаты, загнал меня в постель, погасил свет и вышел.

Надо было чем-то заняться. Я решила поразмышлять обо всем этом. Заложила руки за голову, закрыла глаза и приготовилась. Но сегодня у меня ни черта не получалось, все как-то разваливалось, как большое белое пузо той снежной бабы, которую мы с отцом возвели прошлой зимой у нашего подъезда. Я думала обо всем сразу и ни о чем. Не успевала я подумать об одном невыносимом происшествии, как на меня насакивали мысли о другом, таком же нестерпимом и немыслимом.

Я вообще-то не могу думать сразу о нескольких предметах. Я выбираю один, тот, что мне сейчас больше интересен, и начинаю его обдумывать. Причем ни в коем случае не выхожу за рамки этого предмета.

Потом я мысленно говорю себе: «Ну, об этом – все. Валяй дальше» – и приступаю к другой теме.

Например, когда я думаю о папе, я могу думать о его мастерской, о театре, о декорациях к новому спектаклю, о рубашке, которую ему надо погладить к премьере.

О том, что после премьеры в служебном гардеробе он галантно поможет надеть пальто Наталье Сергеевне – ассистенту режиссера – и поведет ее к нам домой. Пить чай.

И они будут пить чай в той комнате, где висит мамин

портрет. Там мама, как бы случайно оглянувшись, удивленно смотрит, держа на весу руку с только что закуренной сигаретой.

И при всем том мне в голову не придет начать думать о маме. Мама – это особая, громадная, тысячу раз обдуманная область мысли. В ней водятся журналистские симпозиумы, с которых мама летит в неразбивающихся самолетах и везет мне ручку с купальщицей (повернешь ее вниз – женщину заполняет синий купальник, вверх – купальник как рукой сняло).

Я зажгла ночник и села на кровати. Приятно посидеть в обществе своей физиономии, повторенной во множестве вариантов и выполненной в разнообразных позах.

Ни один великий человек не может похвастать таким количеством своих портретов, как я. Папа говорит, что я – великолепная модель, так как продолжаю сидеть даже тогда, когда мне уже кажется, что я огрызок копченой колбасы и что рука, которая лежит на коленке, никогда больше не сможет коснуться никакой другой части тела.

Шесть моих портретов висели на стенах, остальные стояли внизу.

На зеркале висел забытый папин галстук, синий в белый горошек. Я надела его поверх ночной сорочки и подтянула повыше. Нет, все-таки я больше на маму похожа! И нос, да и подбородок тоже...

Я открыла дверь в нашу комнату. Максим сидел за столом

и смотрел в одну точку. Он повернулся и странно поглядел на меня.

– Макс, – сказала я, теребя галстук, безвольно болтавший-ся на моей куриной шее. – Конечно, это здорово, что у меня теперь есть комната. Но можно я еще чуть-чуть посплю на своем диване?

Я воевала с собой три дня. Я лупцевала себя по физио-номии, бросала на землю и топтала ногами. Мне кажется, я смогла бы написать роман о том, как прожить эти три дня, вернее сказать, о том, как выжить сквозь эти три дня. И пер-вая часть романа называлась бы «День первый».

Потом я набрала номер его телефона, и с ужасом слуша-ла, как на меня накатываются протяжные гудки, как волны, накрывая меня с головой.

«Если сердце мое разобьется, что станешь делать с неле-пыми осколками?» – скажу я ему сейчас.

Но голос в трубке так умеренно и безразлично произнес «Да?», что я вдруг окоченела и робко сказала:

– Ну, вот и здравствуйте...

– Слушай, ну нельзя же месяцами пропадать! – насмеш-ливо и обрадованно крикнул он. – В экспедиции ты уходишь, что ли?

Мы не виделись три дня. Мне сейчас показалось, что все существующие в мире ласковые и отрадные слова преврати-лись в оранжевые апельсины, и я купаюсь в них, подбрасы-

ваю и ловлю, и я жонглирую ими с необыкновенной ловкостью.

– Ну, ты намерена произнести сегодня что-нибудь путное, ужасное дитя? – спросил он. – Или ты совершенно деградировала за три дня?

– О, это прелестно, что вы дни считаете, – спокойно сказала я, чувствуя, как почему-то дрожит большой палец правой ноги. – Вы, наверное, просто по уши влюблены в меня.

Он засмеялся, как смеются, когда услышат хорошую остроту, – с удовольствием.

– Наглый подросток, – сказал он. – Ну как твои дела по литературе?

– Скверно. Мне уж третью неделю надо писать сочинение о Катерине в «Грозе», а я как только подумаю об этом, так у меня просто руки отваливаются. Что делать?

– Подожди, пока они отвалятся совсем, и сошлись на то, что тебе нечем было писать.

Мы одновременно прыснули в трубку. Кто-то позвонил в квартиру.

– Одну минутку, – сказала я. – Нам молоко принесли.

Это была Наталья Сергеевна. Она улыбалась, и ее полное, с нежной розовой кожей лицо, статная фигура в темно-синем пальто с меховым воротником, пухлые руки в синих перчатках – все в ней дышало оживлением и пикантностью.

– Нинуль! – весело и задорно, как всегда – это был ее стиль, – проговорила она, протягивая мне полную сетку с

апельсинами. – В театре давали, папа взял.

– Ваш папа? – коротко спросила я.

– Ваш! – засмеялась она. Сделала вид, что не обратила внимания. – Он взял для вас шесть килограммов, а занести попросил меня: его срочно вызвали.

Я весело и задорно выпалила:

– Да что вы, Наталья Сергеевна, да у нас полным их полно! Весь балкон завален! Деваться от них некуда! В кухне под руками валяются!

Она удивленно подняла тонкие, как стрелки, брови, переложила сетку из правой руки в левую и немного отступила назад.

– Зря вы только такую тяжесть таскали! – веселилась я. – У нас они по всему коридору катаются. Вон один в тапке светит! Максим вчера гвоздь в туалете апельсином забивал!

Она стала спускаться по лестнице и все время неловко улыбалась и повторяла: «Ну ладно, ну что ж...»

Я захлопнула дверь и воровато оглянулась. Максим стоял в дверях нашей комнаты и смотрел на меня. Я подумала, что сейчас он прибьет меня, как сидорову козу, и еще подумала, что здорово, наверно, попало этой козе, если она вошла в поговорку.

– Да купим мы эти проклятые апельсины! – жалобно и трусливо крикнула я.

Он молчал. Я подумала: скверно, совсем шкуру спустит.

– Ну что ты маешься, бендяжка! – тихо сказал он, вышел

и прикрыл за собой дверь.

«Бендяжка»... Что-то маленькое, убогонькое, хромень-
кое. Это он от волнения слоги перепутал.

Я на цыпочках подошла к телефону и тихонько опустила трубку на рычаг...

«Вы заставляете упрашивать себя, маэстро! Ну начинайте же, это некрасиво! Вы заставляете всех ждать!»

Снег не начинался... Я сидела на старом диване № 627 и упрашивала снег начать представление. Чтобы с неба грянули миллионы слепых белых акробатов.

Я сидела, обхватив колени длинными руками. Такими длинными, как змеящиеся рельсы железной дороги, гибкие и сплетающиеся. Если б я захотела, я бы охватила ими огромное расстояние. Весь наш город с домами и ночными улицами. Я бы поместила его между животом и приподнятыми коленями. Тогда тень от подбородка была бы тучей, закрывающей полгорода. И эта туча разразилась бы великим полчищем слепых кувыркающихся акробатов. И наступит великая тишина. Я дохну теплым ветром, и в каждом доме окна заплачут длинными кривыми дорожками.

В одном из домов живет мой папа. Он говорит, что воображаемое увеличение или уменьшение предметов у меня с детства, от папиных эскизов и моделей декораций. Он часто подолгу делал их – крошечную комнату или уголок сада, а я мысленно населяла их людьми. Я приближала глаза к игру-

шечной сцене и шепотом разговаривала с этими людьми. В детстве я с ними разговаривала...

Вся беда в том, что не начинался снег. А он должен был дать сегодня одно из самых грандиозных своих представлений.

«Это стыдно, маэстро, так ломаться! Ну прошу же вас, прошу!»

– Что ты там бормочешь? – спросил Максим и сел на кровати.

– Я хочу снега, – ответила я, не поворачивая головы.

– А я хочу курить. Дай-ка мне спички с подоконника.

Я бросила ему спичечный коробок, он закурил.

– Что за тип звонит тебе в последнее время? – подняв бровь, строго спросил он.

– У тебя сейчас идиотская поза какого-нибудь американского босса, – сказала я. – Это не тип. Это, предположим, инженер. Он проектирует землеройки, или сенокосилки, или сноповязалки. Он объяснял, я не запомнила что.

– Какие землеройки?! – вдруг закричал Макс так, что я вздрогнула. Редко он так сразу распаляется. – Что ты за человек! Тебя же из дому нельзя выпустить, ты, как свинья лужу, ищешь для себя идиотские приключения!

– Макс, пожалуйста, не так интенсивно... – У меня с утра болели спина и мой проклятый правый бок, а тут все еще больше разболелось.

– Ты отдаешь себе отчет в том, что надо таким вот «ин-

женерам» от таких дурочек, как ты? – сухо спросил он.

– Представляешь, каким нужно быть уродом и кретином, чтобы что-то хотеть от меня? – подхватила я.

Тогда он стал пугать меня всякими невероятными историями, которых в жизни, как правило, не бывает. Он долго говорил, так долго, что мне показалось, будто я успела раза три заснуть и опять проснуться. А бок болел все сильнее и сильнее, и я старалась, чтобы Макс не заметил, как я цепляюсь за него.

Но он заметил.

– Опять?! – крикнул он, и в глазах его застыл ужас. У них всегда такие глаза, когда у меня приступы. Он ринулся в коридор и стал набирать номер отцовского телефона. В коридор, в трусах. Там же холодно...

Пока он паниковал и кричал в телефон, я тихонько лежала на диване, скорчившись, и молча смотрела в окно.

«Эх ты... – мысленно упрекала я снег. – Так и не начался...»

Я знала, что это последние спокойные, хоть и болевые минуты. Сейчас приедет на такси отец, приедет «Скорая» и все завертится, как в немом кино...

Нам повезло. Дежурил мой дорогой доктор с чудесным именем – Макар Илларионович. Девять лет назад он уда-

лил мне почку, и меня чертовски интересовало, что он будет делать на этот раз. Макар Илларионович был ранен во время войны, ранен в шею, поэтому, когда он хотел повернуть свою совершенно лысую голову, приходилось разворачиваться плечом и грудью. Он был замечательным хирургом.

– Так, – хмуро сказал он, осматривая меня. – и чего ты здесь околачиваешься? Ты мне совершенно не нужна!

Он что-то буркнул медсестре, та подошла ко мне со шприцем.

«Теперь все в порядке», – подумала я, цепenea от боли.

Отец вел себя скверно. Он выудил из какого-то потайного кармана расческу и выдeлывал с ней что-то невероятное. Казалось, сам он был обособленным существом, а суесящиеся, издерганные руки вытворяли черт знает что по собственной инициативе. Все время он топтался около Макара Илларионовича, потом, не стесняясь меня, сказал умоляющим голосом:

– Доктор, эта девочка должна жить!

Макар Илларионович быстро развернулся к отцу плечом, должно быть, собираясь ответить что-то резкое, но посмотрел на него и промолчал. Может быть, вспомнил, что девять лет назад здесь стояли оба моих родителя и умоляли его о том же.

– Ступайте домой, – мягко сказал он. – Все будет так, как надо.

В город вернулись теплые дни.

Они возвратились с удвоенной лаской, как возвращаются неверные жены. Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-осеннему поджарые листья густо лежали на земле молча, без шороха. Несколько дней город, казалось, находился в теплом и каком-то блаженном обмороке, он предавался осени, этой изменчивой лгунье, и не верил, не хотел верить в скорое наступление холодов...

Целыми днями я просиживала на скамеечке в дальнем углу больничного парка, наблюдая за игрой геометрических теней от голых сухих веток деревьев. Тени скользили по выцветшему рисунку больничного халата, по рукам, по асфальту.

По двору гоняли две влюбленные псины...

Парк проглядывался насквозь, и отсюда видны были проходная, четырехэтажные корпуса больницы, решетчатая ограда. За оградой, сразу через дорогу, было фотоателье с внушительной витриной. На фотографиях, выставленных в ней, люди все сидели с вывороченными головами, как индюки со свернутыми шеями. Все они, с интересом и надеждой подавшись вперед, как бы слушали невидимого оратора, окончание речи которого нельзя пропустить и которому нужно обязательно похлопать.

За оградой существовал мир здоровых людей. Для меня это было враждебное государство. Мне внушали недоумение

их здоровье и веселость.

Иногда посидеть на скамеечке притаскивалась старенькая Вера Павловна – доктор наук, специалист по женским болезням, она была моей единственной соседкой по палате. Я замечала ее издалека, она с чрезвычайной осторожностью передвигалась, придерживаясь за стены здания, за ограду, за деревья. Наконец усаживалась рядом со мной и долго переводила дух.

– В молодости человек не замечает, как годы летят, – начинает она. – И двадцать лет – молодая, и сорок лет – молодая. А я вот вспоминаю себя... Двадцать лет назад – ведь человеком еще была...

Мы долго сидим молча, вместе наблюдая за скользящими тенями на асфальте, потом она задумчиво рассказывает:

– Собралась я недавно дорогу перейти. Стою и никак не решусь; ходок я теперь неважный, а с прогрессом у нас шутки плохи. Стою и смотрю, как молодые спешат, снуют по своим делам. Вдруг подходит ко мне женщина, берет под руку и говорит: «Здравствуйте, доктор! Вы меня, конечно, не помните, а вот я никогда вас не забуду. Я сейчас наблюдаю за вами и думаю: когда-то вы за двадцать минут сделали операцию, а сейчас вот уже четверть часа не можете дорогу перейти...»

Она закрывает глаза и смеется:

– А я разве упомяну ее? Я этих операций сотни переделала...

У Веры Павловны выпуклые глаза, и, когда она закрывает веки, глаза становятся похожими на сомкнутые створки раковины. Такие плоские, перламутровые внутри раковины, в которых прячутся нежные студнеобразные моллюски.

– Вот вам, наверное, родители кажутся престарелыми, а ведь по сравнению со мною, например, – совсем сопляки...

– У меня мама молодая, – говорю я. – У меня мама, Вера Павловна, знаете, изумительная женщина была. У нее вся жизнь была необыкновенной, изумительной. И профессия. Вы, наверное, помните, встречали, не могли не читать в газетах фельетоны Этери Контуа. Она и грузинкой была необыкновенной – рыжеволосая, синеглазая. Я ведь, кстати, не Нина, а Нино. Как вам это понравится? Нино... Она встретила отца, когда ей исполнилось шестнадцать. В этот день. И в этот же день они сняли какую-то халупу на окраине города. Знаете, Вера Павловна, мне, между прочим, тоже совсем скоро будет шестнадцать, и я все-таки посамостоятельней, чем была она, избалованная дочка, ни разу чайник не вскипятившая. И вот я часто думаю: смогла бы вот так, сразу понять, что это – судьба, и пойти за человеком без оглядки? Я думаю – нет. Деда чуть кондрашка не хватил, когда он услышал. Сами понимаете – единственная, «бусинка, ро-синка, детка ненаглядная», и вдруг как снег на голову какой-то голоштаный третьекурсник художественного училища. Скандалище! В халупе посередине – мольберт с неоконченным ее портретом, у стены – раскладушка и две табурет-

ки. Все. Эти сплетницы, соседки-кумушки, пальцами на нее показывали. А она ходила с большим животом и плевала на всех. И когда Максиму было семнадцать, ей было тридцать три, и она всегда неправдоподобно молодо выглядела, поэтому, когда они с Максимкой шли по улице, все думали, что она – его девушка.

А потом – этот самолет.

Я ненавижу самолеты, Вера Павловна, я никогда не сяду в самолет. И что самое удивительное – папа говорит, что он на наших глазах... А я не помню. И ведь я была тогда большой девочкой – десять лет. Помню на себе белые гольфы с бомбошками, помню, что Максим в тот день первый раз побрился и был ужасно горд этим, что папа не достал маминых любимых гвоздик и ходил поэтому расстроенным... Затем помню долгое, нехорошее ожидание в аэропорту. И вот... Наверное, он как-то неэффектно взорвался в воздухе, если я не помню. Ведь это ужасно, неправдоподобно, правда? Все кричали, и отец как-то смешно перепрыгнул через ограду и бежал по летному полю... и вот гольфы с бомбошками помню, а это – нет...

Я замолкаю и смотрю на влюбленных собак, лениво развалившихся на солнышке. Та, которую я считаю дамой, положила морду на рыжую лоснящуюся спину своего поклонника. Полузакрытые глаза, влажный подергивающийся нос

ее выражают покой, уверенность и легкое презрение к окружающим – в общем, чувства, присущие всякой счастливой женщине.

– Ох, боже мой, боже мой... – бормочет Вера Павловна, и мне приятно, что доктор наук так по-старушечьи вздыхает и жалеет меня.

Еще я занималась тем, что третий день наблюдала за девушкой, сидевшей у окна на втором этаже. Она читала. У нее были бледное веснушчатое лицо и изумительные, редкого медного оттенка волосы. Они выплескивались из открытого окна, а ветер ласкал и промывал ее волосы в теплом дыхании зрелой осени.

Почему-то мне казалось, что девушка очень больна, должно быть, она и в самом деле была серьезно больна: я никогда не видела ее во дворе. А ослепительные волосы, вырывавшиеся из окна, как флаг, почему-то вызывали у меня одно воспоминание прошлого года.

Максим тогда встречался с одной фифой из консерватории, и по этому случаю на целых два месяца проникся к классической музыке трогательной любовью. Однажды он достал билеты в филармонию на симфонию Онеггера. Но с фифой в этот день произошла какая-то загвоздка, а может, началась пора умирания большой любви – не знаю, не помню, но, что-бы билеты не пропали, Макс потащил с собой меня.

Симфония, как мне показалось, называлась забавно: «Симфония трех “ре”» и, наверное, поэтому представлялась

мне веселой и увлекательной штукой, чем-то вроде «Сказок братьев Гримм».

Позже, когда я сидела в обитом красным бархатом кресле и очухивалась, было поздно. Взлетали вверх обнаженные руки скрипачек с длинными смычками, и казалось, это метались ослепительные языки пламени из черных факелов плащей.

Я сидела и думала, что добром это кончиться не может, должно произойти что-то ужасное, трагическое, что вот прервется музыка, и дирижер, похожий на грачонка в черном фраке, повернет к публике скорбное длинноносое лицо и скажет: «Друзья! Только что скончался дорогой всем нам...» – и назовет известное и близкое имя какого-то знаменитого человека. Так казалось.

Но вопреки моим опасениям все прошло благополучно, оркестранты молча выслушали аплодисменты и покинули сцену, а мы долго простояли в гардеробе в очереди за пальто.

Эту историю я вспомнила, глядя на бледную девушку в окне второго этажа, и мне очень хотелось, чтобы вскоре за ней пришла полная рыжая женщина, или худая рыжая женщина, – ее мать (только обязательно рыжая, такой она мне представлялась) – и чтобы девушка прошла с ней по двору не в больничном халате, а в каком-нибудь зеленом платье или красном брючном костюме. Чтобы она задержалась в проходной и сказала сторожу: «До свидания, дядя Миша», а он бы ей ответил: «Будь здорова, не более больше».

И чтобы она никогда сюда не возвращалась...

По утрам приходил Максим, а вечерами, после работы, отец.

– Дневную вахту надо было поручить Наталье Сергеевне, – как-то сказала я Максиму.

– Ты стала невыносимой, – отозвался он. – Ты просто человек, с которым трудно говорить. И с каждым днем твой характер становится все тяжелее и тяжелее. Что дальше будет, ума не приложу!

– Ничего дальше не будет, – холодно успокоила я его. – Это все скоро кончится, неужели ты не понимаешь?

– Паршивка, Нинка! – крикнул он, как в детстве. – Что ты с нами делаешь! Посмотри, во что отец превратился, он тенью ходит. Наталью Сергеевну не узнать, так осунулась.

– Для этого ей, должно быть, пришлось сесть на диету.

– Послушай... – Он нахмурился и замолчал, сбивая пепел с сигареты. Он устал спорить со мной.

– Ты же сам ее не любишь, Максимка!

– С чего ты это взяла? – угрюмо спросил он.

– Ну, я тебе, слава богу, сестра или нет? Ты ее недолюбливаешь за то, что она заняла мамино место.

– Никогда ни один человек не сможет занять место другого. И тем более это касается женщин. Когда погибает любимая женщина, вместе с ней гибнет целый мир, даже не мир – целая эпоха в жизни человека; молодость, прожитая с ней,

намерения, мысли, что были с нею связаны, все гибнет вместе с ее жестами, голосом, мимикой, походкой. Каково же человеку, когда то, что могло быть в старости приятным воспоминанием, превращается в кошмар, в сплошную ноющую рану? Разве может другая женщина, пусть даже по-своему близкая, закрыть собой эту рану? По-моему, нет...

– А ты теперь у них обедаешь, да, Макс? Невкусно она готовит?

– Нормально готовит, – пробурчал он. – И еще вот что: разве она виновата в том, что мамы нет, что отец был один, да и у нее жизнь не устроена? Неужели все это так трудно понять, и неужели за это надо ненавидеть человека?

– Я не ненавижу ее, – возразила я. – Если бы я ее ненавидела, я бы ее убила, я бы разбила окна в ее доме, я бы изорвала в клочья ее синее пальто. Я все понимаю. Но любить-то я не обязана, правда?

Максим смотрел на меня каким-то взрослым взглядом. Карман его пиджака оттопыривался от пачки сигарет, под глазами лежали круги. Должно быть, он сдавал очередной курсовой проект.

– Правда... – сказал он, и продолжал смотреть на меня задумчивым взрослым взглядом, как бы решая, говорить со мной как с человеком или махнуть на меня рукой.

– Это, наверное, потому, что ты еще ребенок, – проговорил он. – Ну, конечно, это потому, что ты не можешь понять, что это такое для мужчины – одинокие ночи. А это страшная

штука – пять лет одиноких ночей...

– А мы? – спросила я, все еще не веря, что Макс так серьезно говорит со мной.

– Мы – дети. А нужен близкий человек, женщина, с которой можно пошептаться на подушке, голова к голове, и по-нервничать, что на работе неприятности, и встать к окну в трусах – покурить. А он дождется, пока мы уснем, и уходит в свою мастерскую, а там пусто, только семейный альбом с фотографиями, который он просматривал каждый вечер. Ты знала, что он каждый вечер просматривал наш альбом?

– Нет... – сказала я тихо.

Макс достал из пачки сигарету и закурил. За двадцать минут это была третья.

– Ты ужасно много куришь, – машинально заметила я, как обычно.

– Да, – сказал он. – Надо завязывать, а то скоро все потроха закопятся.

Это был наш обычный диалог «о вреде курения».

– В самом деле, скверная привычка, – подумав, сказал Макс. – Ты, наверное, оттого такая больная, что мама много курила. Одну сигарету за другой. Я помню, даже тебя ждала, а все равно курила... Маме было совсем нелегко... – медленно проговорил он, почему-то с трудом выговаривая каждое слово. – Ведь она, знаешь, Нинок, в последние годы разлюбила отца. Так получилось.

– Как это?! – шепотом переспросила я и, сразу испугав-

шись, что Макс разозлится на меня за тупость, схватила его за рукав пиджака и запричитала: – Ой, Макся, ну, продолжай, пожалуйста, я все пойму, честное слово!

– Она любила другого человека.

– Нет. Не может этого быть, – сказала я. – Почему же она не ушла?

Он горько усмехнулся.

– А то ты не понимаешь... Эти грузинские гордецы: только чтобы никто не подумал, что в семье неладно. И потом, дети... и, возможно, чувство вины перед отцом, хотя и не была виновата перед ним. И эта ее категоричность, помнишь: «Главное – называть белое белым, а черное – черным». Она бы назвала себя предателем, если бы ушла.

– Отец не знал, – задумчиво сказала я. – Отец, конечно, не знал. Он бы умер от горя.

– Знаешь, я сейчас много думаю об этом, и мне кажется, что она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя любовь. И вообще, если бы не самолет, я бы подумал, что мама сама так решила.

– Откуда ты все узнал?

– Я и раньше догадывался, еще когда она была жива. А потом нашел в ее записной книжке два письма...

Я не спросила, что было в этих письмах, и Максим не стал рассказывать. Слишком трепетно мы относились к маме, чтобы обсуждать ее любовь. Но сейчас вдруг я представила, как неизвестный нам мужчина узнает о маминой смер-

ти. Этот миг. Какие у него были руки в этот миг? Что он делал? Отцу было легче. Он бежал по летному полю и кричал.

А что делал этот человек для того, чтобы скрыть от людей свою боль?

– Проводи меня до проходной, – вставая, сказал Макс.

– Подожди, Максимка, сядь. Что-то у меня все занемело внутри.

Он с силой провел по лицу ладонью, как будто хотел отшвырнуть в сторону свое уставшее лицо, и вместе с ним мысли.

– Скверно, что я все рассказал тебе, – проговорил он. – Но я должен был это сделать. Каждую ночь я думал: «Завтра расскажу. Завтра обязательно расскажу». Я это сделал – для чего? Понимаешь, у тебя возраст сейчас... обвиняющий. Я это по себе знаю, у меня самого так было. Да только после маминой смерти как рукой сняло. Так вот, зачем я все это рассказал? Чтобы ты милосердней была. Не только к отцу – вообще к людям. Потому что без этого, я думаю, настоящей жизни не получится. Чтобы сердце у тебя поумнело... А теперь проводи меня.

– Ты что-то плохо выглядишь, Макся. Ты курсовой проект пишешь?

– С вами попроектируешь, – хмуро буркнул он.

Сегодня я просидела на скамейке дольше обычного, потом медленно поднялась на третий этаж, к себе.

Проходя мимо седьмой палаты, я заглянула туда и сказала маленькой худой женщине, у которой не только руки, но даже лицо казалось натруженным:

– Петрова, к вам сын пришел.

– Ой, спасибо, дочка! – Она стала суетиться, выкладывать какие-то пакеты из тумбочки. – Ты меня так обрадовала, доча!

Я подумала: почему эта женщина называет дочерью еле знакомую девушку? Может быть, потому, что у нее четверо сыновей, и она всю свою жизнь мечтала о дочке? А может, она просто добрая женщина?

В палате я отобрала из сетки несколько мягких яблок и положила на тумбочку Веры Павловны, хотя для ее оставшихся зубов и эта пища была немислимой.

Сухо щелкнул выключатель, и законное пространство из-за отразившихся в окне двух наших коек и тумбочек мгновенно стало больничным и беспокойным. А днем оно было таким по-осеннему прозрачным, тихим...

Я молча лежала с закрытыми глазами и представляла, как папа листает наш альбом с фотографиями. Мысленно я переворачивала страницы вместе с ним.

Вот Сочи. Меня еще нет на свете. Мама стоит на берегу, на ней очень открытый купальник. На плечах у нее сидит маленький Максимка, голенький, его толстые, по-детски еще кривые ножки свешиваются маме на грудь. Максимке – два года, маме – девятнадцать. Они смеются.

Как это сказал Макс? «Она нарочно тебя придумала, чтобы вышибить из себя эту любовь». Ну да, понимаю: думала – родится ребенок, хлопоты, переживания, о том и подумать будет некогда. Мосты сжигала...

Значит, все это – море, чайки, маленький Максимка, любовь к отцу – было до меня? А я для мамы – горький ребенок!

Нет, нет, все не так... Вот другая фотография. Снимал Максим, и вышло плохо, размыто. Меня собирают в детский сад. Я ору благим матом, запрокинув голову так, что лица не видно. Мама натягивает мне правый ботинок, папа – левый. Они смеются, и руки их соприкасаются.

Да, да, руки их соприкасаются. Максим просто напутал! Не могло такого быть, и письма эти – чепуха.

Я не заметила, как в палату пришла Вера Павловна.

Она долго сидела на койке, неподвижно глядя в темное пространство за окном, заполненное больницей, потом медленно и отчетливо проговорила, не глядя на меня:

– Как смерть никого не щадит!

У меня под горлом что-то сорвалось и, обливая все внутри холодом, медленно поползло вниз. У меня всегда так бывает, когда я чувствую, что сейчас сообщат о чьей-то смерти.

– Кто? – коротко спросила я.

– Лена умерла, – сказала Вера Павловна, строго и горько взглянув на меня.

– Какая Лена?! – закричала я, беспомощно встряхнув пу-

стыми кистями рук и пряча их между коленями.

Но я уже знала какая.

– Бледная рыженькая девушка из третьего корпуса. Помнишь, у окна все сидела и читала. С длинными волосами...

В комнате было тихо, так тихо, что различались шаги в дальнем конце коридора.

– Ну, не надо плакать, – сказала она. – Мне тоже тяжело. Сколько раз сталкивалась, а все не привыкнуть. У нее сердце не выдержало, так на операционном столе и скончалась.

– А у меня крепкое сердце, правда, Вера Павловна?

– Не думай об этом, не надо тебе об этом думать. И перестань плакать, сколько можно!

– У меня недавно папа женился на симпатичной женщине, Вера Павловна, знаете... А я не желаю с ней разговаривать, извожу отца, брата, всем треплю нервы и веду себя как последнее хамье. Это ужасно, да?

– Да уж что хорошего... – вздохнула она. Потом разобрала постель и вдруг, обернувшись ко мне, совсем по-детски спросила: – Свет не будем гасить, да? Страшно...

У меня даже ноги ослабели, когда я увидела его. Он возник из мира здоровых людей и был его воплощением. Стоял с авоськой за решетчатой оградой, и железный прут вертикально пересекал его лицо. Не улыбаясь, он молча смотрел, как я подходила к нему – к нему, такому красивому! – в этом диком больничном халате.

– Вот и свиделись... – сказал он тоном человека, просидевшего на рудниках тридцать лет и случайно заставшего в живых друга детства.

– Я тебя вижу второй раз в жизни, – сказала я. – Это же можно с ума сойти. Ты у Максима узнал, где я? Он тебя здорово бил?

– Здорово, – сказал он и засмеялся. – Ну, улыбнись, я хочу поцеловать тебя в улыбку.

– Забор мешает, – заметила я. – Пойдем, я тебе лаз покажу. Как ты умудрился в тихий час прийти?

– У меня часы отчаянно спешат, – оправдывался он. – Если б я их время от времени не ставил на место, они давно бы отсчитали двадцатый век и принялись за двадцать первый.

Мы шли по обе стороны забора, и я мучительно, всем телом чувствовала на себе ужасный халат. В нем у меня не было ни груди, ни талии, а все только подразумевалось.

Я шла и, не оглядывая себя, чувствовала, что у ворота из-под халата кокетливо выглядывают обтрепанные завязочки рубашки. Но мучительней всего чувствовалось задыхающееся, заикающееся сердце.

– Я тебя вижу второй раз в жизни, – поразившись, сказала я, забыв, что эта мысль уже удивляла меня.

– А с братцем вы великолепная пара сапог, – сказал он. – Сначала говорил, что ты на занятиях, а сегодня утром накричал на меня, что человек уже три недели валяется в больнице и никому до этого нет дела.

Моя скамеечка была занята юным тоненьким папой. Он сидел, вытянув далеко вперед джинсовые ноги, похожие на складную металлическую линейку, и, задумчиво пощипывая усики, казалось, безучастно смотрел на резвящегося растрепанного мальчугана. Мальчишка был просто прелесть, не больше двух лет, очень забавный. Увидев нас, он подбежал и, остановившись совсем близко, принялся разглядывать незнакомцев испуганно-веселыми глазами. Борис достал из сетки апельсин и протянул мальчугану.

– Нет, нет, спасибо! – встревоженно воскликнул папа, поднимаясь со скамейки. – Цитрусовые нам нельзя, диатез.

И вдруг стало понятно, что это очень хороший папа. Из тех, которые каторжники.

– Как зовут вашего сыночка? – спросила я, чтобы доставить ему удовольствие.

– Георгий, – горделиво ответил он, и это звучало как «Гьёрги». – Гогия, – пояснил он, и это у него получалось как «Гогья».

Они пошли к забору, туда, где был лаз, и я глядела им вслед и улыбалась.

– Гулять сюда приходят, – сказал Борис. – Такой замечательный парк!

– Они грузины, – продолжая радостно улыбаться, сказала я. – Ты понял? Они грузины. Мне так приятно!

– Если б я знал, что это тебе так приятно, я бы сегодня в справочном узнал, сколько грузин проживает в нашем горо-

де. — Он недоуменно взглянул на меня.

— Ты ничего не понимаешь! — сказала я. — Ничего. Ты зачем сюда пришел — провести меня? Ну, тогда давай поговорим.

— Давай поговорим! — согласился он.

И мы замолчали.

Я не могла до конца осмыслить то, что он пришел сюда и сидит со мной на скамейке. Мне мерещилось, что это Максим умолил его приехать. Чуть ли не в ногах валялся. Хотя я прекрасно понимала, что никогда в жизни ничего подобного Максим не сделает. Или, может быть, он так подумал: «Бедная, смертельно больная девочка... Подъеду, подарю тридцать минут счастья».

Нет, это тоже исключено. Ведь он не знает, что я влюблена в него вусмерть.

Так вы влюблены, мадемуазель?! Похоже, что я, наконец, призналась себе в этом. Да не все ли равно! Жить, может, осталось шиш на постном масле. Хоть перед собой не юроствуй...

— Я понимаю, что ты в затруднительном положении. С одной стороны, неловко напоминать человеку о его болезни. И вообще это ужасная штука — посещение тяжелобольных. Ты его жалеешь и делаешь участливое лицо, а сам думаешь о том, как бы не проспять завтра на рыбалку. А больной не делает никакого лица, на нем вообще нет лица, он ненавидит тебя и думает: «Ну, давай, спрашивай меня о здоровье,

бодрячок! С-скотина...» А иногда ненависть переносится на совершенно неожиданные предметы. Видишь витрину того фотоателье за оградой? Я ее ненавижу. Там поголовно сняты все идиоты. Потому что не может умный человек послушно принимать позы, придуманные бездарным фотографом!

– Это нехороший юмор, – сказал он, серьезно глядя на меня. – Тяжелый.

– Это вообще не юмор, – возразила я. – Чувство юмора за последнее время у меня полностью растворилось. Отбито, как печенка в ужасной пьяной драке. А то, о чем я говорила, – это правда жизни. Так об этом написал бы Чехов. Ты любишь Чехова?

– Очень, – веско сказал он.

– Слава богу! Я презираю тех, кто к нему равнодушен. Просто за людей их не считаю, каких бы успехов в личной и общественной жизни они ни достигли. Я всю жизнь читаю письма Чехова, у нас дома есть собрание его сочинений в двенадцати томах. Многие письма знаю наизусть. Особенно к Лике Мизиновой. Он ей пишет: «Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас...» А еще так: «Кукуруза души моей!» Обязательно нужно читать примечания к его письмам. Там объясняется, кто такие были Линтварёвы, кто такая Астрономка. Я только никогда не заглядываю в примечание к письму восемьсот восемнадцатому. Там всего одна сноска. Знаешь, какая?

– Какая? – тихо спросил он.

– Всего одна: «Последнее письмо А. П. Чехова».

Мы помолчали.

– Я сегодня ужасно много болтаю, как в прошлый раз. А ты очень молчалив, потому что не знаешь, о чем можно со мной говорить, а о чем нельзя. Я это вижу, и выручаю тебя – говорю, говорю. Но сейчас я замолчу, и тебе станет страшно, и придется что-то сказать. Поэтому я предупреждаю: можно говорить обо всем. И хоть я панически боюсь смерти, даже о смерти.

И тут он не выдержал.

– Почему?! – закричал он. – Ну почему я должен говорить о смерти! и вообще, что это за безобразие! Я еду на свидание к юной девушке, перед этим готовлюсь, наглаживаюсь, бреюсь, черт возьми, так, что в меня глядеться можно, стою час в очереди за апельсинами! А меня вместо девочки встречает занудная старая мымра, и полчаса ведет заупокойные беседы. В боку у нее закололо – подумаешь! Вот у меня третью неделю насморк не проходит!

Он выхватил из кармана наглаженный платок и стал отчаянно громко в него сморкаться. Но у него ничего не получалось, потому что он был абсолютно, восхитительно здоров.

– А ведь на носу зима, – сказала я. – Сезон носовых платков. Что ты будешь делать зимой со своим насморком?

– А вот что: мы кошмарно напьемся, третьим возьмем тво-

его ненормального брата, будем шататься в обнимку по улицам и горланить песни страшными голосами...

– И пусть идет снег.

– Пусть, – согласился он.

– Изо рта у нас будет валить пар, и все вместе мы будем похожи на огнедышащего дракона. О трех головах.

– Воображение – класс! – сказал он.

– Тебе сегодня скучно со мной?

– А разве ты всегда должна развлекать меня? Ты ведь не гетера и не гейша. Ты просто не можешь всегда быть ярким дивертисментом.

– Понимаешь, – сказала я, – все, оказывается, ужасно сложно. Ты только не кричи на меня: я сейчас все объясню. Я очень много думаю все эти дни, так много, что мне будет даже досадно умереть, не записав эти мысли. Если я отсюда выйду, я напишу книгу и сразу стану великим писателем. Нет, я опять болтаю чушь, и ты ничего не понимаешь!.. Дело вот в чем: на днях умерла Лена. Ты помолчи, не перебивай, ты не знаешь. Лена. Белоснежная девушка, волосы алые, как флаг... Умерла после удачной операции, ни с того ни с сего, с бухты-баряхты. Что-то с сердцем случилось. А пять лет назад погибла моя мама. Еще нелепей и страшней. И еще и еще... Теперь ответь мне: к чему вся эта возня со мной? Ведь я совершенно безнадежна. К чему замечательный Макар Илларионович будет делать сложную операцию обреченному человеку? Для чего? Чтобы я прожила еще год, три,

пять лет? Но ведь даже если я останусь на подольше, мне все равно нельзя будет иметь детей! А дети – это главный смысл во всем! Хоть с этим ты согласен?

– В том, что главный смысл, согласен. А в остальном... – Он вздохнул и замолчал. И я подумала, что он больше ничего не скажет на эту тему, не может быть, чтобы Макс его не проинструктировал.

– У меня очень старенькая бабуля, – неожиданно твердо и громко сказал он так, что я даже сначала не сообразила, в чем дело, и подумала, что это он мне хочет рассказать анекдот. – Такая старенькая, что каждый день, возвращаясь с работы, я боюсь, что не она откроет мне дверь, – продолжал он, не глядя на меня. И я поняла, что анекдота не будет. – Они с дедом любили друг друга с пятнадцати лет... Потом она пять лет ждала его с войны. Дождалась... Наконец, когда им исполнилось по двадцать два года, они поженились. И прожили семь месяцев, день в день. Ты взрослая девочка, тебе не надо объяснять, что значит ждать семь лет, а прожить с мужем семь месяцев...

Он долго молчал, прежде чем опять заговорить...

– Это был очередной налет банды петлюровцев. Деда повесили на глазах у молодой жены, а ей самой обрубili топором пальцы на обеих руках. Все десять пальцев, до второй фаланги. Но не до конца обрубili, – продолжал он, по-прежнему не глядя на меня, – пальцы потом срослись. Ужасно, правда, срослись, так, что глядеть страшно, но все же ка-

кие-никакие, а руки... А в тот момент она, обезумев от боли и горя, волоча болтающиеся, как плети, руки с обрубленными пальцами, оставляя за собой кровавую дорожку, бежала на обрыв, чтобы броситься вниз, в реку. И когда она добежала, то вдруг почувствовала, как отчаянно бьется в животе ребенок, будто понимая, что она собирается сотворить, словно умоляя о жизни... Так она осталась жить, а через три месяца на свет появился мой отец, которого она назвала именем деда.

Он рассказывал это очень просто и твердо. Как-то повествовательно, как сказку рассказывают: «Жили-были...», и от этого делалось еще страшней, и хотелось сжимать кулаки и плакать оттого, что это было на свете.

– Я не знаю, зачем все это тебе рассказываю, – виновато сказал он. – Я приготовил положительные эмоции, целый вагон разных смешных баек. Но когда я тебя увидел, то понял, что анекдоты не нужны. Поэтому рассказываю что-то не то...

– Именно то! – нетерпеливо перебила я его. – Именно, именно то!

– Ну, тогда слушай дальше, – сказал он и переложил сетку с колен на скамейку. Апельсины свободно раскатились, и один даже упал со скамейки, застряв в сетке и оттягивая ее, как баскетбольный мяч.

– У бабули не осталось ни одной дедовской фотографии. Так уж получилось. Люди редко в то время фотографировались, и потом, она тотчас же уехала из того местечка, где жи-

ла с дедом. Я не думаю, что она забыла его лицо. Ведь мой отец поразительно похож на деда, а я, говорят, еще больше. Нет, конечно же, она прекрасно помнила его лицо, хотя с того дня прошло пятьдесят лет... и вот – это было совсем недавно, месяца три назад – какие-то дальние родственники из Киева прислали вдруг фотографию деда. Они, наверное, копались в своем альбоме и наткнулись на нее. Сначала не могли вспомнить, кто это, а когда догадались, решили прислать ее нам. И то правда – зачем валяться чужой фотографии в семейном альбоме... Знаешь, я никогда еще не видел таких лиц у людей, какое было у бабушки, когда она распечатала письмо с фотографией. Это, наверное, совсем нелегко – увидеть лицо любимого, которого похоронила пятьдесят лет назад. Она не сказала ни слова и весь день провозилась на кухне. Но ночью... У нас тесновато, и мы с бабушкой спим в одной комнате. И я слушал, как всю ночь она проговорила с дедом. Плакала и говорила: «Ну, как я тебе нравлюсь? Посмотри, на что я стала похожа. Ты видишь эти руки? Что же это творится, боже мой, что твой младший внук на год старше тебя?» Потом, утром, она мне призналась: «Когда я разорвала конверт и оттуда выпала его фотография, у меня помутилось в голове, и я на самую маленькую секунду подумала, что мне двадцать два года, а он уехал на ярмарку, в Дунаевцы, и пишет мне оттуда письмо. А его смерть и вся моя жизнь – просто страшный сон, который снился прошлой ночью...». Больше ничего интересного я не расскажу. Ешь

апельсин, не напрасно же я за ними в очереди стоял!

– Мне эта жизнь кажется удивительно прозрачной и ясной... – задумчиво проговорила я. – Можно смотреть на мир сквозь историю этой скорбной жизни и отсеивать добро от зла.

– Я хочу, чтобы ты съела апельсин на моих глазах. Вот смотри, я его почистил. Кто это идет там, в конце аллеи?

– Это Макар Илларионович! – испугалась я. – Сейчас мне влетит за то, что я в тихий час здесь болтаюсь!

– Что за имя, боже! – сказал он. – Карл у Клары украл кораллы.

Но Макар Илларионович даже не остановился. Он стремительно прошел мимо нас, не взглянув на меня, и скупно обронил:

– Долго не сиди. Сыро...

Его удаляющаяся четырехугольная спина в белом халате казалась мне оплотом надежды и веры.

– Кто тебе будет делать операцию, этот Фантомас? – спросил Борис, глядя вслед Макару Илларионовичу. – Что у него с шеей?

– Это фронтовое ранение, – сказала я. – Он мне рассказывал когда-то, очень давно, девять лет назад, и я уже смутно помню эту историю... Наши форсировали реку, а на том берегу были немцы и держали нас под непрерывным огнем. И в общем, кому-то из наших нужно было переплыть реку и что-то узнать или сделать – я в военных делах ничего не пони-

маю. Но это задание было равносильно смертному приговору – настолько опасной казалась переправа... и тогда командир Макара Илларионовича сказал: «Ребята, нужно плыть. Того, кто решится, представлю к ордену...». И Макар бросился в воду. Вот тогда он и получил это ранение в шею. Но все-таки доплыл, и что полагалось, сделал. А вот голову повернуть – ни в какую!

– А орден? – заинтересовался Борис.

– Командира в том бою убило... Я спросила Макара Илларионовича: когда он плыл, о чем думал? А он говорит: «Вот представь себе, думал, как по селу перед девчатами пройду – сапоги начищены, гимнастерка новенькая, а на груди – орден! Когда ранило, тогда уже твердил себе: «Выплыть... выплыть...» Насчет девчат он, конечно, пошутил. Он вообще шутник. Первую операцию он мне сделал, когда я в первый класс пошла. И за день до нее говорил: «Представляешь, будет у вас когда-нибудь урок анатомии, на котором изучают человеческие потроха. А ты встанешь и скажешь: «Видали вы человека с одной почкой?» Вот смеху-то будет!» Но та операция была ерундой по сравнению с предстоящей... Тогда можно было шутить...

Борис ничего не ответил, и мы еще посидели так тихонько, греясь на скудном осеннем солнышке.

Я вспомнила, что сейчас должен прийти Максим, и представляла, как буду сидеть между ними – такими красивыми парнями, и как это будет выглядеть.

– Ну ладно... – сказала я ему. – Посидел, и будет. Проваливай...

Я проводила его до проходной, чуть отставая и пытаюсь запомнить его плечо и щеку – то, что мне было видно, это на всякий случай, если он больше не придет.

«Случись что-нибудь! – мысленно молила я то обстоятельство, которое еще не имело названия в моем воображении, но которое должно было расставить все по своим полкам... – Случись что-нибудь!» – и случилось. Как тогда, у подъезда.

– Ты знаешь! – вдруг остановившись, воскликнул он. – Совсем забыл тебе рассказать! Я ведь сейчас встретил в автобусе ту девушку, из театра!

– Вот так удача, – проговорила я тусклым голосом, забыв поставить восклицательный знак в конце предложения. – Надеюсь, на сей раз ты не упустил случая...

– Ни за что бы не упустил! Я бы ехал за ней до самой конечной остановки, если бы... – он насмешливо посмотрел на меня, – ...если бы не торопился так к тебе!

...Ночью меня разбудило ощущение резкой перемены во всем окружающем мире. Я поднялась и подошла к окну.

Сильный ливень избивал и без того голые, беззащитные деревья. По всему стонущему от ветра парку шла жестокая расправа над теплом и безмятежной ясностью самонадеянной осени.

Я отошла от окна и легла, заложив руки за голову. По противоположной стене до рассвета метались, прося пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было похоже на позор разгромленной армии.

А под утро за окном медленно поплыл снег. Он падал бесшумно и устало, как будто не являлся впервые, а возвращался на эту землю. Возвращался мудрый и умиротворенный, пройдя долгий путь, неся в себе некую разгадку и успокоение людям...

Сквозь сон я слышала, как пробуждалась клиника, хлопали двери в умывальной, шаркали больничные тапочки. Потом открылась дверь в нашу палату, быстро вошел Макар Илларионович. Он подошел к моей койке и положил руку мне на плечо. Этот жест был властным и успокаивающим одновременно. И я все поняла.

– Макар Илларионович, что? Уже? Уже сейчас? Неужели сейчас?! – Губы у меня одеревенели, и я не могла ими шевелить.

– Ты у нас умница, – серьезно сказал он. – Ты должна нам помочь. Ты же умница!

– Вы думаете, я могущественная, как Микки-Маус? – пытаюсь улыбнуться дрожащими губами, спросила я.

– Микки-Маус тебе в подметки не годится, – так же серьезно сказал он. – Можешь взять его к себе в адъютанты.

Выходя из палаты, он остановился в дверях.

– Ну, отдохни еще секунду. Полежи, подумай о чем-ни-

будь веселом.

Как только за ним закрылась дверь, я схватила карандаш и, вырвав из ученической тетради листок, быстро написала: «Папа, прости меня! Я всех вас очень люблю!»

И тут я взглянула в окно. И увидела, как на зеленых санках, в рыжем меховом комбинезоне мчит по чистейшему снегу повелитель всего живого на земле Гогия, а запряженный в сани счастливый усатый родитель делает громадные скачки, отчего его нескончаемые ноги еще больше похожи на складную металлическую линейку.

И я скомкала этот жалкий листок бумаги и швырнула его в сторону.

Внезапно я вспомнила бабушку Бориса и подумала: помнит ли она, спустя пятьдесят лет, живое прикосновение своего юного мужа, помнят ли ее руки прикосновение к его рукам? Нет, наверное. Наше тело забывчиво.

Но оно живо – его объятие! Оно ходит по земле в образе его сына и внука, еще больше похожего на деда, чем сын! Жива моя мама. Потому, что я жива. И буду жить долго-долго.

«Да, – подумала я, – вот это главное; люди ходят по земле. Одни и те же люди, только с поправкой на время и обстоятельства. И если понять это и крепко запомнить на всю жизнь, то не будет на земле ни смерти, ни страха...»

«А теперь я полежу еще секунду и подумаю о чем-нибудь веселом, – сказала я себе. – О чем же? Ну хотя бы о том, как

завтра или послезавтра придет Борис и напишет мне записку, какой-нибудь каламбур, вроде: «Оперативно здесь делают операции!» А я в ответ на том же листке попрошу медсестру написать крупно, латинскими буквами: «Po blatu»...

1976



Терновник

Мальчик любил мать. И она любила его страстно. Но ничего толкового из этой любви не получалось.

Впрочем, с матерью вообще было трудно, и мальчик уже притерпелся к выбоинам и ухабам ее характера. Ею правило настроение, поэтому раз пять на день менялась генеральная линия их жизни.

Менялось все, даже название вещей. Например, мать иногда называла квартиру «квартирой», а иногда звучно и возвышенно – «кооператив»!

«Кооператив» – это ему нравилось, это звучало красиво и спортивно, как «авангард» и «рекорд», жаль только, что обычно такое случалось, когда мать заводилась.

– Зачем ты на обоях рисуешь?! Ты с ума сошел? – кричала она неестественно страдальческим голосом. – Ну скажи: ты человек?! Ты не человек! Я хрячу на этот проклятый кооператив, как последний ишак, сижу ночами над этой долбаной левой работой!!!

Когда мать накалялась, она становилась неуправляемой, и лучше было молчать и слушать нечленораздельные выкрики. А еще лучше было смотреть прямо в ее гневные глаза и вовремя состроить на физиономии такое же страдальческое выражение.

Мальчик был очень похож на мать. Она натывалась на

это страдальческое выражение, как натываются впотьмах на зеркало, и сразу сникала. Скажет только обессиленно: «Станешь ты когда-нибудь человеком, а?», и все в порядке, можно жить дальше.

С матерью было сложно, но интересно. Когда у нее случилось хорошее настроение, они много чего придумывали и о многом болтали. Вообще в голове у матери водилось столько всего потрясающе интересного, что мальчик готов был слушать ее бесконечно.

– Марина, что тебе сегодня снилось? – спрашивал он, едва открыв глаза.

– А ты молока выпьешь?

– Ну, выпью, только без пенки.

– Без пенки короткий сон будет, – торговалась она.

– Ладно, давай с этой дрянской пенкой. Рассказывай!

– А про что мне снилось: про пиратские сокровища или как эскимосы на льдине мамонтенка нашли?

– Про сокровища... – выбирал он.

...В те редкие минуты, когда мать бывала веселой, он любил ее до слез. Тогда она не выкрикивала непонятных слов, а вела себя как нормальная девчонка из их группы.

– Давай беситься! – в упоительном восторге предлагал он.

Мать в ответ делала свирепую морду, надвигалась на него с растопыренными пальцами, утробно рыча:

– Га-га! Сейчас я буду жмать этого человека!!

Он замирал на миг в сладком ужасе, взвизгивал... И тогда

летели по комнате подушки, переворачивались стулья, мать гонялась за ним с ужасными воплями, и в конце концов они валились на тахту, обессиленные от хохота, и он корчился от ее щипков, тычков, щекотания.

Потом она говорила своим голосом:

– Ну, все... Давай наведем порядок. Смотри, не квартира, а черт знает что...

– Давай еще немножко меня пожмаем! – просил он на всякий случай, хотя понимал, что веселью конец, пропало у матери настроение беситься.

Вздыхал и начинал подбирать подушки, поднимать стулья.

Но чаще всего они ругались. Предлогов было – вагон и тележка, выбирай, какой нравится. А уж когда у обоих плохое настроение, тогда особый скандал. Хватала ремень, хлестала, по чему попадала, – не больно, рука у нее была легкая, – но он орал как резаный. От злости. Ссорились нешуточно: он закрывался в туалете и время от времени выкрикивал оттуда:

– Уйду!! К черту от тебя!

– Давай, давай! – кричала она ему из кухни. – Иди!

– Тебе на меня наплювать! Я найду себе другую женщину!

– Давай ищи... Чего ж ты в туалете заперся?..

...Вот что стояло между ними, как стена, что портило, коржило, отравляло ему жизнь, что отнимало у него мать, – Левая Работа.

Непонятно, откуда она бралась, эта Левая Работа, она подстерегала их, как бандит, из-за угла. Наскакивала на их жизнь, как одноглазый пират с кривым ножом, и все подчиняла себе. Кромсала этим ножом все планы: зоопарк в воскресенье, чтение «Тома Сойера» по вечерам – все, все гибло, летело к чертям, разбивалось о проклятую Левую Работу. Можно сказать, она была третьим членом их семьи, самым главным, потому что от нее зависело все: поедут ли они в июле на море, купят ли матери пальто на зиму, внесут ли вовремя взнос за квартиру. Мальчик ненавидел Левую Работу и мучительно ревновал к ней мать.

– Ну почему, почему она – Левая? – спрашивал он с ненавистью.

– Вот балда. Потому что правую я делаю весь день на работе, в редакции. Правлю чужие рукописи. Мне за это зарплату платят. А вот сегодня я накатаю рецензию в один журнал, мне за нее отвалят тридцать рублей, и мы купим тебе сапоги и меховую шапку. Зима же скоро...

В такие дни мать до ночи сидела на кухне, стучала на машинке, и бесполезно было пытаться обратить на себя ее внимание – взгляд отсутствующий, глаза воспаленные, и вся она взвинченная и чужая. Молча подогревала ему ужин, говорила отрывистыми командами, раздражалась из-за пустяков.

– Живо! Раздеться, в постель, чтоб тебя не видно и не слышно! У меня срочная левая работа!

– Чтоб она сдохла... – бормотал мальчик.

Он медленно раздевался, забирался под одеяло и смотрел в окно.

За окном стояло старое дерево. Дерево называлось терновник. На нем колючки росли, здоровенные, острые. Пацаны такими колючками по голубям из рогатки стреляют. Мать однажды встала у окна, прижалась лбом к стеклу и сказала мальчику:

– Вот дерево терновник. Очень древнее дерево. Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели венок и надели на голову одному человеку.

– За что? – испугался он.

– А непонятно... До сих пор непонятно...

– Больно было? – сочувствуя неизвестной жертве, спросил он.

– Больно, – согласилась она просто.

– Он плакал?

– Нет.

– А-а, – догадался мальчик. – Он был советский партизан...

Мать молча смотрела в окно на старый терновник.

– А как его звали? – спросил он.

Она вздохнула и сказала отчетливо:

– Иисус Христос...

Терновник тянул к самой решетке окна скрюченную руку с корявыми пальцами, как тот нищий у магазина, которому они с матерью всегда дают гривенник. Если присмотреться,

можно различить в сплетении веток большую корявую букву Я, она будто шагает по перекладине решетки.

Мальчик лежал, глядел на букву Я и придумывал для нее разные пути-дороги. Правда, у него не получалось так интересно, как у матери. Машинка на кухне то тараторила бойко, то замирала на несколько минут.

Тогда он вставал и выходил на кухню. Мать сидела над машинкой сутулясь, пристально глядя в заправленный лист. Прядь волос свисала на лоб.

- Ну? – коротко спрашивала она, не глядя на мальчика.
- Я пить хочу.
- Пей и марш в постель!
- А ты скоро ляжешь?
- Нет. Я занята...
- А почему он деньги просит?
- Кто?! – вскрикивала она раздраженно.
- Нищий возле магазина.
- Иди спать! Мне некогда. Потом.
- Разве он не может заработать?
- Ты отстанешь от меня сегодня?! – кричала мать измученным голосом. – Мне завтра передачу на радио сдавать! Марш в постель!

Мальчик молча уходил, ложился.

Но проходила минута-две, и стул на кухне с грохотом отодвигался, в комнату вбегала мать и отрывисто, нервно бросала:

– Не может заработать! Понимаешь?! Бывает так. Сил нет у человека. Нет сил ни заработать, ни жить на свете. Может, горе было большое, война, может, еще что... Спился! Сломался... Нет сил!

– А у тебя есть силы? – обеспокоенно спрашивал он.

– Здрасте, сравнил! – возмущалась она и убегала на кухню – стучать-выстукивать проклятую Левую Работу.

У матери силы были, очень много было сил. И вообще мальчик считал, что они живут богато. Сначала, когда ушли от отца, они жили у материной подруги тети Тамары. Там было хорошо, но мать однажды поругалась с дядей Сережей из-за какого-то Сталина. Мальчик думал сначала, что Сталин – это Маринин знакомый, который ей здорово насолил. Но оказалось – нет, она его в глаза не видела. Тогда зачем из-за незнакомого человека ссориться с друзьями! Мать как-то и ему принялась рассказывать про Сталина, но он пропустил мимо ушей – скучная оказалась история.

...Так вот, мать подумала, решилась, и они «влезли в кооператив».

Мальчик придумывал грандиозное зрелище: вот он ждет их на взлетной полосе, сверкающий, узкий и легкий, как птица, – кооператив! Вот они с матерью – в комбинезонах, со шлемами в руках – шагают к нему через поле. И вот уже люк откинут, они машут толпе внизу, застегивают шлемы и, наконец, влезают в новейшей модели сверхзвуковой кооператив!

На самом деле все происходило не так. Мать продала много чего ненужного – желтенькую цепочку, которую прежде даже на ночь не снимала с шеи, серьги из ушей с блестящими стеклышками, кольцо. Потом стояла у окна на кухне и плакала весь вечер, потому что и цепочка, и серьги, и кольцо были бабушкиными и остались от нее на память. Мальчик крутился возле матери, ему передалось ее тоскливое ощущение потери, и было жалко мать, которая так горько плачет из-за пустяковых вещиц, и он решительно не понимал, что происходит.

Но скоро они переехали в новую квартиру, и мать повеселела. Квартира оказалась роскошной: комната, кухня и туалет с душем. Был еще маленький коридорчик, в котором они в первый же день повесили подаренное тетей Тamarой зеркало. Комната пустая, веселая – вози грузовик в какую хочешь сторону, от стенки до стенки, и не скучай. Первое время они спали вдвоем на раскладушке. Обнимались тесно, становилось тепло, и мать перед сном рассказывала длинную историю, каждый вечер новую. И как только они уместались в ее голове!

А однажды он пришел из детского сада и увидел в комнате новую красную тахту. Мать засмеялась, потащила его, повалила на тахту и стала тискать и щипать.

– Ну как? – спросила она гордо. – Шикарно? – и подпрыгнула на упругих пружинах.

– Шикарно, – согласился он и тоже попрыгал немного.

– Человеку в твоём возрасте вредно спать на раскладушке, – пояснила мать, – будешь сутулым, как старый старикашка. У меня это прямо из головы всю неделю не выходило. А сегодня утром, как отвела тебя в сад, думаю – да черт возьми! Руки есть, башка варит, что я – не отработаю? Пошла и заняла деньги у тети Тамары...

– Левую Работу возьмешь? – расстроился он.

– Ага, – беспечно сказала мать и опять стала прыгать на тахте и тискать мальчика.

Часто в гости забегала тетя Тамара. К ней на работу постоянная спекулянтка приносила всякие вещи – то джемпер японский, то финское платье. И тетя Тамара забегала на минутку – приносила «померить». Она очень переживала, что мать «все с себя сняла» и «совершенно не одета». Это, конечно, ерунда. Интересно, как бы мать ходила на работу, если б была совершенно не одета. Она носила черный свитер, который очень нравился мальчику, и серые от стирки джинсы. Просто она привязалась душой к этим любимым вещам, ей не нравились другие. А недавно тетя Тамара принесла серьги, ведь мать продала свои, и та волновалась, что дырочки в ушах зарастут, и будет «все кончено». Серьги оказались красивыми, с нежно-зелеными камушками. Мать усмехнулась, надела их, и сразу стало видно, какая она хорошенькая, – глаза такие же, как серьги, зеленые и длинные.

– Вот и покупай! – решительно сказала тетя Тамара. – Очень тебе идут. Просто чудо как красиво.

– Ой, Марина! – ахнул мальчик. – Какие красивые!

– Красивые! – согласилась мать, снимая серьги. – На той неделе взнос за кооператив.

Тетя Тамара бодрая и решительная. Она очень помогает жить матери и мальчику – вселяет уверенность в то, что все будет прекрасно.

– Личная жизнь не удалась – подумаешь! – говорит она. – Те, у кого она удалась, ходят в стоптанных туфлях и с высушенными языками.

Отца он тоже любил, но боялся, что мать заметит это. И вообще, когда заходил разговор об отце, он помалкивал, зная взрывной материнский характер. С отцом-то было легко, спокойно. Отец никогда не орал, и всегда можно было предположить, как он отнесется к тому или другому происшествию. Отец был во всем другой.

Наверное, он сильно удивился бы, узнав, что мальчик наблюдает за ним и сопоставляет его мир с тем миром, в котором существовали они с матерью.

Отец забирал его в субботу днем и приводил к себе домой, в ту квартиру, где прежде жили они втроем и где осталось все, что раньше было общим. Остался и трехколесный велосипед мальчика, и санки, и самокат. Довольно долго он размышлял, отчего отец не отдал даже его велосипеда. Но спросить не решался. Вернее, просто знал, что ответит отец. Тот бы улыбнулся и поцеловал его, и сказал бы:

– Просто я хотел, чтобы твои игрушки были здесь, чтоб

ты знал – здесь твой дом.

Как-то он уже говорил нечто подобное.

Нет, дом был там, где была мать. Это мальчик чувствовал очень остро. Даже когда не существовало вообще никакого дома и они ютились у тети Тамары с дядей Сережей, его дом был там, где находилась она – ее голос, ее запах, ее черный свитер, ее жестикуляция и выкрики.

Даже себе он не признавался в том, что любит бывать у отца отчасти из-за подарков. Отец дарил подарки веселые, интересные и этим выгодно отличался от матери. То пистолет подарит с целой обоймой оглушительных патронов, то железный танк с вращающимся стволом орудия. И делал это отец без шума, со снисходительной улыбкой, и никогда не устраивал тарарама, если вдруг через час орудие танка отваливалось или пистолет переставал почему-то действовать.

Отец дарил веселые подарки... Мать – скучные. Сапоги какие-нибудь на зиму, или куртку с капюшоном, или костюм. И сама ужасно радовалась этим подаркам, заставляла его надевать их, ходить перед ней по комнате и сто раз поворачиваться. Мальчику это надоедало. Он скучал, спрашивал:

– Ну, все, что ли?

– Ну, походи еще! – сияя счастливыми глазами, командовала мать. – Пройди медленно вон туда, к шкафу, и повернись ко мне. Так. Теперь спиной...

Он томился в теплой зимней куртке, но послушно топтался, как она требовала, – от шкафа к тахте и обратно. В такие

минуты он почему-то очень жалел ее.

И не дай бог замазать куртку грязью или оторвать случайно какую-то несчастную пуговицу! Что тут начиналось!

– Ты человек?! – кричала она страдальческим голосом. – Нет, скажи – ты человек? Нет, ты не человек! Тебе плевать, – сплю я ночами или сижу над левой работой, куртку тебе зарабатываю!

Охота воспитывать его настигала мать в самые неподходящие моменты. Например, на днях, когда взрослые ребята – среди них был и Борька из второго класса, – впервые приняли его в игру, и он решил на радостях угостить всех конфетами. Прибежал со двора и постучал в дверь ногами, торжествующий и переполненный царственной щедростью. Мать открыла дверь с мыльными руками, стирала, что ли.

– Марина, дай нам всем конфет! – потребовал он, шумно дыша.

– Посмотри, на кого ты похож! – крикнула она с выражением муки на лице. Бровь ее изогнулась. – Только что вышел! Посмотри на свою рубашку! Сколько я могу стирать?! Ты человек? Ты не человек! Нет больше моих сил, понимаешь? Нет больше моих сил, ты понимаешь или нет?!

– Понимаю, понимаю, – торопливо проговорил он, точно так же изогнув страдальчески бровь, – дай нам конфеты!

...Да, отец обладал существенным достоинством – он никогда не орал.

Мальчику была непонятна эта материнская страсть к до-

быванию вещей, тем более непонятна, что мать он считал натурой щедрой и в этом отношении даже безумной.

Однажды она привела в дом двоих детей. Было воскресное дождливое утро, – мать рано ушла в магазин, а мальчик еще лежал в постели и сквозь дымку утреннего сна слушал, как дождь остервенело лупит по подоконнику. Левое ухо, прижатое к подушке, ничего не слышало, поэтому всю бестолковую грызню дождя с подоконником выслушивало правое ухо. Оно утомилось. Мальчик сполз вниз, под одеяло, и прикрыл правое ухо ладонью. Тарахтение дождя по подоконнику превратилось в сонное бормотание, наступила блаженная тишина. И в этой тишине мальчик услышал, как открыли входную дверь и мать отрывисто проговорила:

– Входите, входите!

Мальчик откинул одеяло и быстро сел в постели. Дождь грянул оглушительную свою песню.

– Какой сильный дождь! – сказала мать в прихожей. – Зайдите в комнату, дети.

И тут мальчик увидел их обоих. Они были неправдоподобно мокрыми, как будто кто нарочно долго вымачивал их в бочке с водой. Старший, мальчик одного с ним возраста – лет шести-семи, а девочка совсем малышка – ей едва ли исполнилось три года. Она таращила по сторонам черные, как у галчонка, глаза и слизывала с губ капли дождя, бегущие по лицу с налипших на лоб спутанных кудрей. У обоих прямо на босые ноги были надеты калоши.

Мальчик сидел на постели в теплой пижаме и молча смотрел на незнакомцев.

– Драстытэ, – робко выдавил старший.

Мать наткнулась на недоумевающий взгляд мальчика и скороговоркой объяснила:

– Это дети молочницы... Она молоко по квартирам разносит... а они... вот... под дождем... Бидоны стерегут, дурочки. Как мокрые галки... Раздетые, разутые... Кому нужны эти бидоны, черт бы ее побрал! Раздевайтесь! –скомандовала она и распахнула дверцы шкафа.

Она хватала с полок одежду мальчика и бросала на тахту – колготки, рубашки, свитер. Потом помедлила и сняла с вешалки его прошлогоднюю дождевую куртку.

– Вот, – сказала она.

Принесла из ванной полотенце и стала растирать им девочку. Та стояла безучастно, как болванчик, продолжая слизывать с губ капли, катящиеся по лицу. Ноги и руки у нее были красные, жесткие, в цыпках.

– Драстытэ... – еще раз еле слышно проговорил ее брат, очевидно, это было единственное русское слово, которое он знал.

В разгар сцены переодевания явилась баба Шура, соседка. В отличие от мальчика, она сразу сообразила, что происходит, и с минуту стояла, молча наблюдая, как мать натягивает колготки на влажные еще ноги девочки. Баба Шура не была здесь посторонней, она любила и мальчика, и его мать,

болела за них душой, во многом помогала и во все вмешивалась. Насчет свитера она промолчала, но, когда мать стала завязывать в узел совсем еще новые вещи мальчика, в том числе куртку, баба Шура не выдержала.

– Ты что это вытворяешь, а?! – сурово спросила она. – Ты своего голым-босым хочешь оставить?

– На своего заработаю! – огрызнулась мать.

– Дура! Эта молочница тыщами ворочает! Не смотри на ихние галоши, они в своей махалле всю зиму босиком бегают, они так привыкли.

– Ладно, баба Шура! – отрывисто сказала мать. – Какие там тыщи, господи!

– Ты сколько ишачишь на эти шмотки, а? Мало? Всю ночь машинка долдонит за стенкой. Мало?! Ну, давай, давай, сними с ребенка последнее.

– Все, баба Шура! – спокойно отрезала мать.

– Давай, давай, бешеная... Невменяемая! – Баба Шура повернулась и ушла к себе – беречь нервы.

А мать негромко сказала сыну:

– Если тебе не жалко, подари им какую-нибудь свою игрушку.

Мальчику было жалко, но он понимал, что это один из тех случаев, когда он не может послушаться. Иначе между ними произойдет что-то ужасное, непоправимое. В такие минуты он особенно остро чувствовал ее волю, чувствовал: она – магнит, он – крупинка.

Он прошлепал на кухню, волоком притащил оттуда картонный ящик с игрушками и сказал, ни на кого не глядя:

– Вот... Берите, что хотите...

Но мать и тут не пощадила его:

– Выбери сам. Что-нибудь поинтересней. Вон тот автомобиль!

Это было сознательным насилием, он чувствовал это, чувствовал сердцем, напрягшимся затылком, руками, упрямо не желающими расставаться с любимой игрушкой. Автомобиль был подарен отцом совсем недавно, мальчик не успел еще до конца насладиться его зеленой лакировкой, упругими шинами, мигающими фарами. Автомобиль ездил вперед и назад, он поворачивал в любую сторону, стоило только кнопку нажать на пульте управления. Что это был за автомобиль!

– Ну, – сказала мать.

Он молча сунул автомобиль чужому мальчишке! Тот покорно прижал его к груди обеими руками и опять прошептал:

– Драстытэ...

– Не «здравствуйте», а «спасибо»! – тихо и враждебно поправил мальчик.

Его душили обида, ревность, злость, не хватало еще разреветься при этих истуканах!

Когда мать вышла проводить детей, он юркнул под одеяло и тихо заплакал. Не было во всем мире ни одной родной души, а были кругом только жестокость и равнодушие. Она

там внизу, должно быть, обнимает этих чужих детей, которые толком и спасибо-то сказать не могут, она заботилась о них, а родной сын ей – тьфу! – пусть лежит одинокий где-то там, неизвестно где...

Мать вошла в комнату, прилегла рядом и сказала, поглаживая его вздрагивающий затылок:

– Сегодня же купим точно такой автомобиль...

Тогда он затрясся в рыданиях, сладкая, иступленная жалость к себе – обездоленному, одинокому – сжала горло, и он едва смог выговорить, икая:

– Такого... уже... не будет...

– Будет, – спокойно сказала мать. – Мы купим все автомобили в магазине, но ты у меня вырастешь человеком. А если не человеком, то я убью тебя собственными руками!

И они обнялись и лежали так долго-долго, пока оба случайно не уснули, и проспали до двенадцати часов.

Недели уже три он ходил в школу, в первый класс. Этой перемены в жизни они с матерью побаивались, а оказалось – ничего, жить можно. Еще в начале июня сделали глубокий рейд по магазинам, накупили всякой всячины – ранец, форму, рубашки к ней голубые, три штуки, да еще шуры-муры: тетради, пенал, линейки, счетные палочки – словом, целое хозяйство. Мать прямо в магазине помогла ему надеть ранец, и он ехал так домой через весь город. Три раза место в автобусе уступал, кому – не помнил. Школьники всегда усту-

пают.

А когда по лестнице домой поднимались, баба Шура дверь открыла и встала как вкопанная; сделала такое дурацкое остолбенелое лицо, как будто генерал в подъезд вошел.

– Ой, что это за ученик?! – закричала она.

– Это я – ученик! – сияя от счастья, сказал он.

Тогда баба Шура притянула его к себе за щеки и звучно поцеловала – сначала в одну, потом в другую, потом опять в одну. Как будто он издалека приехал.

Первые дни в школе он чувствовал себя очень одиноким. Все дети сразу освоились и знали все – где буфет, где актовый зал, где туалет. А он как-то ничего не знал, а спрашивать у других не умел и в первый день даже чуть не описался, хорошо, что мать рано пришла, он ей шепнул жалобно про свою беду, и они выскочили из школы как угорелые и приткнулись за углом, где были частные гаражи.

В буфете надо было толкаться. Он попробовал один раз, но неудачно: его толкнули, монета вылетела из рук, какой-то громила из третьего класса быстро наклонился за ней и громко сказал: «Ура! Нашел двадцать коп!» Мальчик промолчал, отошел и всю перемену проплакал.

После уроков начиналась продленка – он ходил в группу продленного дня. Учительница вела их строем в столовую, потом строем в спальню, потом строем в актовый зал, где они ходили по кругу в затылочек под музыку Шаинского. Это называлось «ритмика». Музруководительница стояла в центре

круга и выкрикивала:

– Левой три притопа! Правой три притопа! Левой: раз-два-три! Правой: раз-два-три! Из круга не выходить!

Голубой вагон бежит – ка-ча-ет-ся! –
Скорый поезд набирает ход... –

пел Крокодил Гена мягким интеллигентным голосом.

Ах, зачем же этот день кон-ча-ет-ся!
Пусть бы он тянулся целый год!

Нет, мальчику не хотелось, чтобы этот день тянулся целый год. Ему хотелось, чтобы скорее пришла мать. Он послушно притопывал правой и притопывал левой и все время, вытягивая шею, смотрел на дверь актового зала.

Когда наконец в дверях появлялась мать, в животе у него делалось горячо, а в глазах – цветно, жизнь всплескивалась, как золотая рыбка из пучины морской. Он продолжал топтаться под музыку, но уже совсем по-другому, потому что видел конец всей этой тягомотине и хорохорился перед матерью – вот, мол, как он танцует вместе со всеми и не хуже всех. Мать только сдержанно кивала ему. Она на людях не любила изображать телячьи нежности.

И учительница попалась хорошая – Татьяна Владимировна, – молодая и ласковая, ее все сразу полюбили, девчонки лезли к ней под руки и ссорились, кто пойдет сегодня с пра-

вой стороны, кто с левой.

Мальчику учительница нравилась тоже, хотя и представлялась однозначной, как цифра «5», такой ровной и плоской, как монета. Вот мать была объемной: и круглой и с углами, и шершавой и гладкой, и тихой и громкой – в матери столько всего было понаверчено!

Учился он, как ему казалось, хуже всех. Не клеилось у него с этими палочками в тетради, с этими кружочками и крючочками. Все шло вкривь и вкось. Мать в вопросе учебы держалась со свойственной ей непоследовательностью. Когда шли из школы и он жаловался ей на непослушные палочки и крючки, она говорила: «А, плюнь! Чепуха! Получится», – но вечером, когда садились делать уроки, он открывал злополучные «Прописи», она присаживалась помогать, постепенно входила в азарт и начинала орать так, что у него в ушах звенело:

– Стой!! Куда ты эту черточку повел!! Я сказала – левее! Не заводи ее за поля!! Куда ты, к чертовой матери, дел завиток у «в»? Ремень возьму!..

Вечера были бурными. Терпения у матери набиралось ровно на копейку. Он переживал это проклятое время с мужеством стойка, потому что после приготовления уроков до сна оставалось еще два часа, и тогда стоило жить на свете.

Едва захлопывался осточертелый «Букварь», у мальчика и у матери лица становились одинаково устало-умиротворяемыми. Тяжкий ежедневный груз был доволочен до цели

и с облегчением сброшен.

– Ты чего сейчас будешь делать? – спрашивал мальчик.

– Посуду мыть, борщ варить, – устало говорила мать.

– Ну ладно, я буду посуду вытирать, а ты мне что-нибудь расскажешь.

Мать надевала фартук неохотно и одновременно покорно, как подставляет шею под хомут лошадь.

– Ну, что тебе рассказать?

– Про бабу Шуру, – просил он.

– В третий раз, – не удивляясь, уточняла мать. Она уважала его страсть – слушать по многу раз полюбившиеся истории, сама перечитывала любимые книги.

– Ну вот, значит, когда началась война... Поддай-ка, пожалуйста, нож... – Он бросался к столу, молча подавал ей нож, только бы она не отвлекалась больше. – ...Когда война началась, баба Шура с мужем жили на границе, в местечке Черная Весь, под Белостоком. Муж был офицером, пограничником, в первый же день войны его и убили. И осталась баба Шура вдовой в двадцать один год, с двухлетней Валькой на руках...

– С тетей Валею, – шепотом объяснял себе мальчик.

– И прошла она беженкой через весь Западный фронт с нашей армией. Сколько раз их в пути бомбежка настигала! Однажды вот так налетели «мессеры», загнали их в придорожный лесок. А Валька, маленькая, оглохла от взрывов, перепугалась, вырвала ручонку и бежать... Баба Шура за ней.

А солдат какой-то закричал на них матом, швырнул на землю, сам рядом повалился. А кругом так и громяхают снаряды, комья земли летят. Потом стихло маленько, видит баба Шура – солдат поднимается и руками за живот держится. А из живота у него внутренности вываливаются. Стоит он, смотрит на бабу Шуру безумными глазами и кишки руками поддерживает... А то еще однажды, после бомбежки, подозвал ее один солдат, просит перевязку сделать. Смотрит баба Шура – а у него вся спина рваная. А он совсем юный мальчик, красивый такой, интеллигентный, говорит: «Прошу вас, возьмите себя в руки и сделайте перевязку...» Баба Шура сняла комбинацию, порвала ее на полоски, сделала ему перевязку.

– Жив остался? – с надеждой спрашивал мальчик в который раз, и мать в который раз отвечала:

– Кто ж его знает... Отвезли в госпиталь, а там – неизвестно...

Про того, с вываливающимися кишками, мальчик спрашивать боялся, знал: плохой будет ответ.

– Столько беды навидалась, что сердце тяжелым стало, как камень. Думала – ничто теперь не удивит... Однажды ехали на грузовиках по дороге. Немцы только что отбомбились, улетели, на обочинах убитых беженцев видимо-невидимо, и хоронить некому.

И видит баба Шура: лежит в траве у дороги молодая мать, мертвая, а рядом с ней ребенок месяцев девяти-десяти. На-

шел мамкину грудь, сосет, а молока нет, вот он и орет, будит мать. А она лежит себе и в небо смотрит.

Не выдержала баба Шура, прыгнула с грузовика, схватила ребенка и назад, в машину...

– Это был дядя Виталий?

– Ну да, дядя Виталий... Ты же обещал посуду вытирать, а сам не вытираешь! Разве это справедливо?

Мальчик молча хватал полотенце, начинал судорожно вытирать чашку, только бы мать рассказывала дальше...

– А пробиралась баба Шура к родным мужа, свекру и свекрови. И когда, наконец, добралась – ободранная, голодная, с двумя детьми, – те ее в штыки встретили. Мол, неизвестно, с кем ты второго прижила, знать тебя не хотим, самим жрать нечего, а тут ты еще на нашу голову свалилась.

И осталась баба Шура одна в чужом городе – податься некуда, сама разута-раздета, дети есть просят, кричат... Встала баба Шура на крутом берегу реки, вниз глянула, и сердце ее оборвалось; прижала детей к себе и думает: «Все равно с голоду помрем! Вот так глаза зажмурить и прыгнуть туда вместе с ними!» А маленький Виталька словно почуял что-то, уперся ей в грудь ручонками, захныкал: «Мама... Не няня... Не няня...»

– Не прыгнула? – широко открыв глаза, с надеждой спросил мальчик.

– Вот дурацкая башка, конечно, не прыгнула! Ты думай: разве сейчас были бы на свете Валя и Виталий? Разве при-

возил бы тебе Виталий всякие камни из экспедиций?

– Да, – соглашался он и для себя, чтобы окончательно успокоиться, повторял шепотом: – Не прыгнула, не прыгнула!

– Ну, ничего, потом на завод устроилась, паек стала получать, чужие люди ее приютили... Тифом вот только заболела очень сильно. В больнице лежала... Все думали – умрет. Когда кризис наступил, в бреду села на постели, косы распустила – густейшие были косы, черные – и запела сильным голосом песню, которую сроду не знала:

Отворите окно, отворите,
Мне недолго осталось жить!
Еще раз на свободу пустите,
Не мешайте страдать и любить...

Все металась в бреду, просила, чтобы косы не стригли, боялась, что в гробу будет некрасивая лежать... Куда там, все равно остригли... Потом они отросли, косы, но уже не такие густые, как прежде.

Мать снимала фартук, насухо вытирала тряпкой кухонный стол и ставила на него пишущую машинку. Это значило, что мальчику теперь – спать, а ей – работать.

Он лежал под теплым стеганым одеялом. За окном зловеще дыбился горбатыми ветвями терновник, окаянное дерево. Буква Я в сплетении веток шагала, шагала, конца не было ее пути... «Отворите окно, отворите, мне недолго осталось

жить...» – сильным голосом неизвестную песню... И косы остригли, не пожалели. Какие там косы, когда у всей страны кишки вываливались... Мать там за стеной стучит, стучит... Сгинет когда-нибудь эта многоголовая, хвостатая, когтистая Левая Работа? «Отворите окно, отворите...». Отворите окно...

...В субботу днем, часа в три, за ним приходил отец. Мальчик ждал его с тайным нетерпением. Отец был праздником, отец – это парк, качели, аттракцион «Автокросс», мороженое в стаканчиках, жвачки сколько душа пожелает, карусель и никаких скандалов. Но от матери надо было скрывать это радостное нетерпение, как и все остальное, касающееся его отношений с отцом. О, здесь мальчик был тонким дипломатом.

– Давай я оденусь, и буду встречать его во дворе, – предлагал он матери небрежно-скупающим тоном. При ней он никогда не произносил ни имени отца, ни слова «папа».

– Успеешь, – хмуро бросала она, выглаживая его рубашку. Он помалкивал, боялся ее раздражать. Встречаться с отцом во дворе было несравненно удобнее, чем здесь, при матери. Во-первых, не нужно им лишний раз сталкиваться, от этого одни неприятности. Мать вообще опасна при таких встречах, да и отец, несмотря на свою выдержку, нет-нет да срыгается на выяснение каких-то дурацких вопросов. Например, в прошлый раз, когда мальчик не успел выйти во двор к по-

ложенному часу и отец позвонил в дверь, завязался между ними отрывистый нервный разговор о его, мальчика, воспитании. Слово за слово – и напряглась, налилась свинцовой ненавистью мать, негромко и враждебно цедил сквозь зубы отец:

– Ну что ты смыслишь в воспитании, ты хоть Спока читала?

– Нет! Зато я читала, чего ты не читал – Чехова и Толстого.

Непонятные слова, непонятный разговор. Две холодные враждебные стороны, и он между ними – изнывающий и бессильный.

Да, лучше было встречать отца во дворе. Тогда и встреча бывала совсем другой. Можно было побежать к отцу со всех ног, в его распахнутые большие руки, вознестись вверх, к отцовским плечам и прижаться щекой к его губам. При матери он никогда не позволял себе этого, знал, что ей будет больно. Вообще сложный это был день – суббота. Нужно было улаживать, устраивать все так, чтобы и той не причинить боль, и того не обидеть. И во всех этих запутанных отношениях умудриться и для себя урвать хоть капельку приятного.

А приятное начиналось сразу же, за углом дома, едва они с отцом поворачивали к метро. Приятное начиналось с отцовских карманов. Мальчик уже ждал этой минуты и поглядывал на отца заговорщицки. И отец поглядывал на него.

– А ну-ка глянь, что у меня в кармане водится! – наконец

говорил он, хитро прищуриваясь.

Мальчик запускал руку в огромный отцовский карман и с восторгом вылавливал оттуда: свистульку, жвачку, надувной шарик, три конфеты.

– Урра-а!

Все это можно было найти и дома, если покопаться в картонном ящике для игрушек, но – нет, все было не таким, все не то... И закручивалась карусель субботних удовольствий. Отодвигалось все – дом, мать, уроки на понедельник, баба Шура, дворовые приятели... Крутилась зеленая в красных яблоках пролетка на деревянном круге, отец крепко держал его за плечи, и веселье захлестывало их пестрой лентой... Вечером они добредали до отцовской квартиры, отец стелил мальчику на диване, раздевал его, сонного и тяжелого, и тут, в мягкой подушке, тонула праздничная, буйная, зеленая в красных яблоках суббота.

С утра в воскресенье он уже начинал скучать по матери. Сидел за столом, рисовал, раскрашивал цветными карандашами книжку-раскраску и представлял, что сейчас делает мать. Может, стучит на машинке, может, стирает, а может, она пошла в магазин, встретила по пути Борьку – тот всегда в воскресенье болтается во дворе – и разговорилась с ним? Мальчик застывал на секунду при этой мысли, чувствуя, как ревность вдруг прильнула к сердцу и отпрянула, а ожог остался и ноет... А вдруг она рассказывает Борьке ка-

кую-нибудь историю, точно как ему? Про пиратов или про мамонтенка? Может, даже она погладила Борьку по голове? А он сидит здесь и раскрашивает дурацкую книжку?! А вдруг к ней пришел сейчас какой-то знакомый, и они пьют чай и разговаривают, а он сидит здесь и ничего не знает?!

– Ну что, будем собираться? – говорил он отцу небрежно-скупающим тоном. – А то стемнеет...

– Ты что, сынок! – удивлялся отец. – Только двенадцатый час, куда ты рвешься? Мы так редко видимся... Ну чем тебя занять? Сказку рассказать? Про медведя и зайчика.

Мальчик терпеливо, чтобы не обидеть отца, выслушивал многолетнюю сказку про медведя и зайчика. Потом они играли в железную дорогу, смотрели телевизор, обедали – отец жарил яичницу, – и наконец начинали собираться.

Мальчик лежал на диване, подперев кулаками подбородок, и наблюдал, как отец бреется перед большим зеркалом. Тот брился тщательно, дотошно, как делал все. Изнутри подпирал языком щеку, тянул шею, оттягивал пальцами кожу на висках...

Вообще отец очень нравился мальчику. Он был большой и красивый. И не сутулился, и ходил легкой размашистой походкой.

– Когда я вырасту, я тоже стану бриться, – сказал мальчик задумчиво.

– М... угу... – промычал отец, выбривая кожу под носом.

– Вообще, когда я вырасту, я... очень вырасту, – добавил

мальчик уверенно. Себя уверял.

– Обязательно, – подтвердил отец. – Ты будешь очень высоким. У нас в роду коротышек нет.

«У нас в роду!» Много бы мальчик отдал, чтобы выяснить, наконец, где находится это самое «у нас в роду»? Когда он жаловался матери на неполадки в школьных тетрадах, мать отмахивалась: «Получится! У нас в роду тупых нет». Интересно, где же, в какой стороне света это благополучное и счастливое «у нас в роду»? Получалось, мать и отец вроде как земляки, а вот не сроднились, не вышло у них...

Отец завязал красивый галстук, надел пиджак и стал искать что-то на письменном столе.

– Ого! – сказал он, наклонившись над рисунком мальчика. – Да ты уже замечательно рисуешь! Это что здесь?

– Это война, – пояснил мальчик.

– Смотри-ка, и танки, и самолеты. А это что за кляксы?

– Бомбы летят.

– Молодец... А солнышко почему не нарисовал, вот здесь, в углу?

– На войне солнца не бывает, – сказал мальчик.

Отец усмехнулся и взъерошил ему волосы:

– А ты у меня философом стал... раньше времени...

Раньше времени! На них не угодишь. Одна твердит: «Думай, думай обо всем!» Он удивляется: «О чем думать?» «Обо всем! – упрямо твердит она. – Обо всем, что видишь!» Другой третий год сказку про медведя и зайчика рассказы-

вает...

Когда уже спускались по лестнице, отец вдруг хлопнул себя по карманам пальто и сказал:

– Ах ты, черт, сигареты забыл! Сынок, они в верхнем ящике письменного стола. Сбегай, милый! На ключ.

Мальчик помчался наверх, перепрыгивая через ступеньку, запыхавшись, отворил дверь и подбежал к столу. Пачка сигарет лежала в верхнем ящике, на чьей-то фотографии. Мальчик взял сигареты и вдруг увидел, что это фотография матери. Мать на ней вышла веселая, с длинными волосами. На обороте отцовской рукой написано: «Мариша...» В первый миг мальчик захотел взять фотографию, объяснить отцу – я забрал карточку, где веселая Марина, она ведь тебе больше не нужна, – но потом подумал, тихонько положил карточку на место и задвинул ящик.

– Дверь захлопнул? – спросил его отец.

– Захлопнул... – глухо ответил мальчик. От метро они пошли не обычной своей дорогой, а в обход, мимо киоска «Союзпечать». Отец давно обещал ему купить значки с собаками. Он купил три значка, с собаками разных пород, и мальчик сразу же нацепил их рядом на куртку. Потом поднял глаза и увидел возле магазина старого знакомого, нищего. Тот стоял, как обычно, одной рукой опираясь на палку, другой протягивая кепку, и смотрел в землю, как всегда, безучастно. Бросишь ему монетку, он вскинет голову, как лошадь: «Доброго здоровьица!» – и опять в землю уставится...

Мальчик встрепнулся:

– Папа! Дай деньгу!

– Зачем? – спросил отец.

– Я нищему подам!

– Этого еще не хватало – алкоголиков поить!

– А мы с Мариной всегда подаем, – сказал мальчик и пожалел, что сказал. Сразу насупился, и уши покраснели. Мать – это была мать, другая сторона, и незачем задевать ее в разговоре.

– Узнаю село родное... – пробормотал отец сквозь зубы.

Мальчик подумал, что мать, наверное, уже сидит во дворе на лавочке, ждет его. Она всегда выходила его встречать, наверное, волновалась – как он и что. Не сиделось ей в квартире.

– Давай здесь попрощаемся, – сказал он отцу.

– Почему? Я тебя до подъезда провожу.

Так и есть, мать сидела на лавочке, смотрела в ту сторону, откуда они появились. Поднялась и осталась так стоять.

– Ну, дай я тебя поцелую, – сказал отец. – Будь здоров.

Мальчик не потянулся к нему, чтобы не обидеть мать, только подставил щеку. Отец сказал:

– На той неделе возьму билеты в цирк. Ну, иди.

Мальчик пошел, стараясь не ускорять шаги, чтобы не обидеть отца. Даже обернулся и помахал ему, – отец стоял и смотрел вслед. Мать тоже смотрела на мальчика, не в лицо, а повыше, в вихор, выбившийся из-под шапочки.

Когда он, наконец, подошел, она молча взяла его за плечи, и они зашли в свой подъезд.

В прихожей она так же молча, с окаменевшим лицом, помогла ему размотать шарф и направилась в кухню.

– Что случилось? – крикнул он вслед.

– Я была в парикмахерской... – тихо сказала мать из кухни. – Парикмахер сказал, что у меня полголовы седая. Я поняла, что жизнь кончена, и купила себе финское платье.

– Где купила? – уточнил мальчик. Его раздражала манера матери сумбурно выражаться. – В парикмахерской, что ли?

– Нет, в ГУМе.

– А-а!.. – сказал он. – Покажи, где оно?

– Да вот же, на мне!

– А-а... Хорошо... Красиво...

Он обнял ее сзади, прижался лицом к спине. Он быстро рос, и в этом году уже доставал ей до лопаток.

– Не бойся, Марина, – сказал он в зеленую шелковистую ткань. – Когда я стану бриться, я на тебе женюсь.

– Вот спасибо! – сказала она. – А теперь, пожалуйста, ешь быстрее и иди спать.

– Опять Левая Работа?!

...Он медленно раздевался в комнате. Стянул через голову рубашку, помахал длинными пустыми рукавами, искося поглядывая на стену – там бесновалась немая рубашкина тень – и, вздохнув, сел на постели. Так хотелось рассказать матери про карусельную субботу! Про то, как в «Автокрос-

се» они все время догоняли синюю машину, в которой сидели уса́тый дядька с рыжим пацаном, а потом с грохотом наехали на них, и все вместе долго хохотали. Но нет, нельзя, нельзя...

Он припелся в кухню и сел на табурет, возле матери.

– Ну?.. – спросила она, исправляя что-то ручкой на отпечатанном уже листе.

– Ты знаешь, какой бандит Сашка Аникеев?! – возмущенно спросил мальчик.

– Ну-у...

– Он говорит ужасные слова. Например – сука, вот какое ужасное слово!

– Нормальное слово, – пробормотала мать, – если по делу.

– Он не по делу! Да нет, ну ты не веришь, а он говорит настоящие материнские слова!

– О, господи! – вздохнула мать, и стала заправлять в машинку очередной белый лист. – Ну, еще какие новости?

– Он дразнится на каждой перемене, что я втрескался в Оксанку Тищенко.

– А ты втрескался?

– Да, – признался мальчик.

– Тогда – по морде! – посоветовала мать.

– Я не могу – по морде, – сказал он.

– Почему?

– Морда глазами смотрит...

– А-а... Тогда выкручивайся, как знаешь... Ну, все?

– Нет... – Он помялся... – Знаешь, Сашка говорит, что я
– еврей, – выговорил он наконец, пристально глядя на мать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.